

Леонид Карпов



**Циничная
училка. Том 2**

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 2

«Автор»

2026

Карпов Л.

Циничная училка. Том 2 / Л. Карпов — «Автор», 2026

Классическая литература – это не вздохи на скамейке, а парад эгоизма и глупости. Так считает Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель РФ, лилипутка с мертвой хваткой и колоссальным филологическим интеллектом. Она плевать хотела на школьные шаблоны. Ради жесткого разбора шедевров она готова на все – даже на прыжки в прошлые века для личного разговора с великими авторами: Диккенсом, Кафкой, Достоевским, Есениным, Ильфом и Петровым, Кипплингом, Агатой Кристи, Крыловым, Венедиктом Ерофеевым...

© Карпов Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

«Джен Эйр», Ш. Бронте	5
«Джордано Коперник из Галилеи», Леонид Карпов	8
Диккенс, Чарльз	10
Диоген Лаэртский	13
«До свидания, мальчики...», Б. Окуджава	16
«Добывайки», Мэри Нортон	18
Дойль, Артур Конан	20
«Доктор Живаго», Б. Пастернак	23
«Дон Кихот», М. Сервантес	26
«Дон-Жуан», Н. Гумилев	29
Достоевский Федор Михайлович	31
«Драма на охоте», Антон Чехов	34
«Дубровский», А. Пушкин	36
«Душечка», А. Чехов	39
«Дым», И. Тургенев	41
«Дюймовочка», Ханс Кристиан Андерсен	43
«Дядя Ваня», А. Чехов	45
«Евгений Онегин», А. Пушкин	48
«Ежик в тумане», Козлов С.	50
Ерофеев Венедикт Васильевич	52
Есенин Сергей Александрович	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Леонид Карпов Циничная училка. Том 2

«Джен Эйр», Ш. Бронте

Сентябрьское солнце плавилось над тихим провинциальным тупиком, где столетние липы роняли сухую листву на щербатый асфальт школьного двора. В кабинете русского языка и литературы стояла та густая, пыльная тишина, какая бывает лишь перед катастрофой – осознанием того, что начался новый учебный год.

За окном вяло матерились строители, чинившие теплотрассу, а в самом классе, замершие под грузом неизбежного, сидели они – седьмой «Г». Сборище юных дегенератов, чьи мысли были заняты исключительно вейпами, пубертатными прыщами и новыми видео для соцсетей.

На учительском столе, аккуратно сложив крошечные, размером с ладонь трехлетнего ребенка руки, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации. Природа отмерила ей ровно девяносто сантиметров роста, словно решив сэкономить на плоти, чтобы до краев заполнить этот миниатюрный сосуд чистейшим, концентрированным филологическим гением.

Лилипутка сидела на специальном высоком стуле, похожем на судебскую вышку. Ее туфли двадцать четвертого размера даже не доставали до пола, но, когда она смотрела на класс, ее огромные, тяжелые глаза навывкате заставляли стокилограммового хулигана Ромку Термославцева втягивать голову в плечи. Ментальный масштаб этой женщины буквально прибивал класс к полу.

– Господа, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный альтист, поплыл над партами. – Сегодня мы открываем страницу чистейшей, незамутненной поэзии викторианского духа. Шарлотта Бронте. «Джен Эйр». О, это не просто роман. Это великая симфония женского преображения, гимн непокоренной душе, которая сквозь тернии сиротства, сквозь ледяной ад Ловудского училища несет хрустальный кубок своего достоинства. Прислушайтесь к этой музыке слов. Джен – маленькая, хрупкая, незаметная птичка, лишенная земных богатств, но наделенная титанической духовной силой. А мистер Рочестер? О, этот байронический титан, изломанный судьбой, ищущий искупления в искреннем взгляде своей гувернантки... Это триумф истинной, жертвенной любви, которая выше сословных предрассудков и земного тлена...

Класс завороченно молчал. Даже хулиган Термославцев перестал ковырять пальцем парту, очарованный этим витиеватым, тягучим словесным кружевом. Александра Сергеевна нежно погладила корешок старой книги, и на ее лице отобразился истинный, почти религиозный трепет перед искусством.

В этот момент за окном грохнуло. Один из строителей уронил кувалду себе на ногу и выдал трехэтажный загиб про чью-то мать и особенности национальной логистики.

Взгляд Александры Сергеевны мгновенно заledenел. Бархат из голоса испарился, уступив место сухому, как шелканье затвора, цинизму.

– Впрочем, – сухо произнесла она, глядя поверх голов седьмого «Г». – Если убрать эту викторианскую развесистую клюкву для девственниц позапрошлого века, мы увидим классическую историю про то, как расчетливая, хладнокровная психопатка технично дождалась, пока душевно нестабильный инвалид останется без копейки, чтобы полностью подмять его под себя.

Класс синхронно выдохнул. Рома Термославцев округлил глаза.

– Записываем тему урока, стадо: «Джен Эйр как пособие по бытовому паразитизму и газлайтингу», – Александра Сергеевна легко спрыгнула со стула. На секунду она показалась совсем крошечной, но, сделав два шага, снова выросла в размерах за счет одной лишь ледяной

харизмы. – Давайте препарируем эту вашу Джен. Нам ее подают как образец морали. Seriously? Девка с детства росла в атмосфере жесткого абьюза, из-за чего у нее напрочь атрофировалась эмпатия, зато развился идеальный радар на чужие слабости. Она приходит в Торнфилд. Что она там видит? Торчит мужик, Рочестер. У мужика явный кризис среднего возраста, тяжелая депрессия и скелет в шкафу – в прямом смысле, на чердаке. Любая нормальная девица на ее месте задалась бы вопросом: почему по ночам в замке кто-то инфернально ржет, а потом и вовсе пытается сжечь хозяина живьем? Что делает наша «чистая птичка»? Она включает режим идеального психотерапевта-манипулятора.

Александра Сергеевна прошлась вдоль доски, чеканя шаги маленькими туфлями.

– Она просекает, что Рочестер – мазохист, уставший от светских шлюх. Ему нужна не просто баба, ему нужен прокурор. И Джен начинает его зеркалить. Он ей хамит – она отвечает холодной, высокомерной вежливостью. Он перед ней выкаблучивается – она смотрит на него как на говно, поджав губы. Рочестер в восторге, у него дофаминовый взрыв, он думает: «О, святая женщина, она видит мою грешную душу!». А «святая женщина» просто выдерживает гроссмейстерскую паузу.

Она резко повернулась к отличнице Свете Холодильниковой, которая сидела с открытым ртом.

– А теперь финал их несостоявшейся свадьбы. Выясняется, что у Рочестера на чердаке чалится законная сумасшедшая жена-креолка. Рочестер на коленях умоляет Джен: «Останься со мной, уедем во Францию, будем жить как люди». Что делает истинно любящий человек? Пытается помочь, разобраться, ну или хотя бы сопереживает трагедии. Что делает Джен? Она включает юридический цинизм. Ей статус сожительницы не всрался. Ей нужен легитимный брак, доля в наследстве и безупречное реноме. Она собирает манатки и валит в ночь, без денег, зная, что оставляет чувака в суицидальном состоянии один на один с пироманьячкой. Чистая душа, говорите? Обыкновенная эгоистичная тварь.

Пушкина усмехнулась, и эта усмешка на ее маленьком лице выглядела жутковато.

– Но Шарлотте Бронте нужно было как-то свести дебет с кредитом. И тут начинается самый сок, следите за руками. Джен случайно – подчеркиваю, случайно – натывается на богатых родственников, получает наследство. То есть у нее теперь имеется бабло. И как только у нее появляются ресурсы, ее внезапно прошибает «экстрасенсорный звонок» – она слышит голос Рочестера в поле. Приезжает в Торнфилд. Замок сгорел, креолка самоликвидировалась, а сам Рочестер – слепой, сломленный калека. И вот тут-то пазл в голове у Джен складывается идеально.

Александра Сергеевна запрыгнула обратно на свой высокий стул и победоносно посмотрела на притихший класс.

– Вот оно, бабье счастье! Мужик полностью деактивирован. Он больше не может бухать, изменять, гулять и качать права. Он слепой – значит, не увидит, что она не красавица. Он калека – значит, даже чашку чая без нее нормально не выпьет. Он полностью, тотально зависим. И Джен, как заправский коршун, падает на эту теплую капитулировавшую тушу. Она выходит за него замуж, чувствуя себя великой спасительницей, хотя на самом деле она просто купила себе живую игрушку, которую можно контролировать двадцать четыре на семь. Это не роман о любви, Терьмославцев. Это история о том, как домашний тиран в юбке дождался, пока жертва потеряет способность к сопротивлению.

В классе стояла гробовая тишина. Даже строители за окном, казалось, затихли, проникнувшись глубиной викторианского хоррора.

– На дом, – Александра Сергеевна аккуратно закрыла книгу, – написать эссе на тему «Сравнительный анализ бюджета Эдварда Рочестера до и после встречи с Джен Эйр». Свободны. И не дай бог кто-то спишет с «Краткого содержания». Я выверну ваши души наизнанку так же, как Шарлотта Бронте, – своего слепого лорда.

«Джордано Коперник из Галилеи», Леонид Карпов

Старая груша в саду у Александры Сергеевны Пушкиной гнулась к самой земле под тяжестью сочных, тронутых первой осенней позолотой плодов, и в этом полуденном зное, густом и сладком, как липовый мед, казалось, замерло само время. Небо над провинциальным городком простиралось такое бездонное, такое пронзительно-синее, какое бывает только в августе, когда земля уже утомлена собственным плодородием и ждет неизбежного увядания.

Александра Сергеевна сидела в плетеном кресле-качалке, которое любому другому взрослому человеку показалось бы детским стульчиком. Ее крошечные ножки в безупречно чистых белых туфлях двадцать четвертого размера не доставали до травы добрые полметра, мерно покачиваясь в воздухе. Девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов веса – природа обошлась с ней как скупой бакалейщик, отмерив плоти ровно столько, чтобы удерживать внутри титанический, сокрушительный филологический разум.

На ее коленях, занимая их целиком от пояса до крошечных чашечек, покоился свежий сборник Леонида Карпова. Она перелистывала страницы тонкими, детскими пальцами, но в этих движениях сквозила царственная, пугающая уверенность.

Перед ней на низком пеньке, заменяющем табурет, смиренно сидел молодой учитель алгебры Витенька Ибатулин – юноша бледный, восторженный, пришедший на поклон к Народному учителю РФ за духовным напутствием.

– Вы только вслушайтесь в эту звукопись, Витенька, – пропела Александра Сергеевна, и голос ее, на удивление глубокий, сочный, альт, поплыл над грядками с укропом, словно колокольный звон. – Какая невыразимая, хрустальная нежность сквозит в маленьком рассказе Карпова! «Джордано Коперник из Галилеи»... О, это не просто текст, это элегия человеческому духу, воспаряющему над экзистенциальной тьмой. Автор берет банальную, казалось бы, мизансцену – любовное свидание в холостяцкой квартире, наполненной ароматом крафтового эля и интеллектуальным флером. Но как тонко он сплетает кружево смыслов! Мужчина и женщина, две одинокие планеты, притягиваются друг к другу через великую метафору науки. Коперник, Бруно, Галилей – эта святая троица астрономии и философии становится у Карпова не историческим анахронизмом, но сакральным кодом страсти. Это гимн бунту, Витенька! Гимн священному костру убеждений, который горит в груди каждого из нас, когда мы встречаем истинную близость. Это же чистый, незамутненный триумф идеализма над серой коснописью бытия...

В этот момент с ветки груши прямо на безупречное белое платье Александры Сергеевны с глухим шлепком упала жирная перезрелая гусеница, оставив за собой мокрый гляцевый след.

Александра Сергеевна замерла. Глаза ее, мгновение назад лучившиеся серафическим светом, сузились до двух ледяных щелочек. Она двумя пальцами брезгливо подцепила чешуекрылое, швырнула его в траву и с размаху ударила ладонью по обложке книги Карпова.

– Господи, Витенька, какую же непроходимую, термоядерную херню пишут эти наши современные «инженеры человеческих душ», – раздельно, со стальным нажимом произнесла она, и весь ее любимый девятнадцатый век осыпался, как сухая штукатурка. – И ведь пипл хавает. Вы хаваете, Витенька. Глядите на меня своими коровьими глазами и ждете откровения. Ладно, слушайте сюда: сейчас я вам этот шедевр препарирую без анестезии.

Витенька Ибатулин вжал голову в плечи. Александра Сергеевна, чей ментальный масштаб сейчас, казалось, занимал все пространство от сада до стратосферы, подалась вперед, едва не падая с кресла.

– Этот рассказ – не про космос и не про любовь. Это гениальный в своей мерзости клинический разбор двух канонических дегенератов, – отрезала она. – Давайте снимем эти ваши

филологические сопли и посмотрим на текст. Перед нами самец обыкновенный, Игорь. Существо с тремя извилинами, у которого от крафтового пива и гормонального зуда окончательно отказала лобная доля. Он притащил бабу в берлогу и включает «интеллектуала». Почему? Да потому что на нормальные ухаживания у него денег нет, а завернуть банальный подкат в обертку из Джордано Бруно – это бесплатно. И ладно бы он читал хоть что-то, кроме Википедии! Этот кретин путает Коперника с Галилеем, лепит горбатого про костры инквизиции и выдает такой бред, за который у меня в седьмом «Г» даже заядлый двоечник Иракли Овнадзе получил бы леща толковым словарем. «Один вычислил, другой прокричал...» Тьфу! Да он просто пытается уложить девку на диван, используя фамилии ученых как отмычку для трусов!

Она перевернула страницу, презрительно хмыкнув.

– Но Игорь – полбеда. Мужской цинизм предсказуем, как запор от сухоядения. Самый сок здесь – это Марина. Нам ее позиционируют как «отличницу, выигрывавшую олимпиады по физике». И что делает эта интеллектуалка? Она видит, что перед ней сидит абсолютный, эталонный баран, у которого в голове вместо астрономии каша из беретов и бород. Ее внутренний ученый должен был взвыть, плюнуть ему в его крафтовый эль и уйти. Но нет! Гормоны побеждают дипломы. Марина включает типичную, прости господи, женскую конформистскую логику. Она сама себе придумывает оправдание: «Ой, ну он же так искренне хочет! Ой, ну для него гелиоцентризм – это просто метафора!»

Александра Сергеевна резко поднялась на ноги, встав прямо на сиденье кресла, отчего оно опасно качнулось, и оказалась на уровне лица сидящего Ибатурина. Ее крошечный кулак взметнулся вверх.

– Вы понимаете глубину падения этой женщины, Витенька?! Она разменивает истину – святую, сука, научную истину, за которую люди реально в тюрьмах гнили, – на перспективу перепихона с красивым идиотом! Ее финальная фраза про какую-то непонятную «десерцию» – это же квинтэссенция ее собственного латентного слабоумия. Она пытается иронизировать, но на самом деле просто подмахивает его невежеству. Карпов написал страшную вещь: он показал, как легко человечество готово предать любые знания, любой космос и любого Коперника ради того, чтобы просто потереться телами под одеялом. Законы небесной механики у них, видите ли, перестали действовать! Да у них мозги перестали действовать! Это рассказ о том, что похоть делает из отличников имбецилов, а из тупиц – космических пророков. Занавес.

Александра Сергеевна тяжело вздохнула, села обратно и расправила юбку. Ее маленькое лицо снова приняло выражение абсолютного, безмятежного покоя.

Диккенс, Чарльз

В пыльном кабинете русского языка и литературы, где портреты классиков покрывались налетом провинциальной меланхолии, Александра Сергеевна Пушкина извлекла из глубин своего ридикюля плоскую фляжку английского джина. Она – со своими девяноста сантиметрами безупречно прямого, почти гранитного тела в строгом сукне – восседала на специальном высоком стуле, иначе стандартный учительский стол поглотил бы ее с головой.

Народный учитель РФ, чья крошечная ладонь сжимала тяжелую хрустальную рюмку, вдохнула хвойный, аптечный аромат можжевельника. Она посмотрела на доску, где мелом было написано: «Чарльз Диккенс. Обличение социальных пороков». Ей всегда казалось, что великая викторианская эпоха пахнет именно так: туманом, чинной благопристойностью и легким оттенком промышленной гари. Сделав глоток сухого лондонского тепла, Александра Сергеевна закрыла глаза, мысленно погружаясь в сумерки туманного Альбиона.

Пространство кабинета качнулось. Когда она открыла глаза, под ее крошечными туфлями двадцать четвертого размера вместо советского линолеума оказался мокрый, скользкий булыжник лондонской мостовой 1850-х годов. Воздух был густым, как гороховый суп, и пах конским навозом.

Александра Сергеевна поморщилась: чертов джин опять проделал с ее пространственно-временным континуумом эту шутку. Впрочем, филологический разум двадцатипятикилограммовой женщины адаптировался мгновенно. Прямо перед ней, у входа в сияющий огнями трактир, стоял господин в модном сюртуке, с пышными бакенбардами и невероятно живыми, лихорадочными глазами. Чарльз Диккенс собственной персоной.

– О, великий бытописатель человеческих душ! – воскликнула Александра Сергеевна, и ее глубокий, грудной, почти оперный голос заставил прохожих обернуться в поисках источника звука, скрытого туманом на уровне их животов. – Мистер Диккенс! Вы, чей гений омыл слезами сострадания черствые сердца британской буржуазии! Ваш Крошка Тим, ваш Оливер Твист – эти чистые, незапятнанные лилии среди навозной кучи промышленного века! Вы подарили миру Рождество, возродив в людях веру в милосердие, семейный очаг и торжество справедливости над бездушным молотом капитализма! Я трепещу перед святостью вашего христианского гуманизма!

Диккенс благосклонно улыбнулся, глядя на странное маленькое существо в очках, но тут из кареты, остановившейся у трактира, вышла полная, уставшая женщина с затравленным взглядом, окруженная выводком шумящих детей. Писатель брезгливо поморщился и раздраженно прикрикнул на нее.

Александра Сергеевна замерла. В ее глазах филологический пиетет мгновенно сменился ледяной, хирургической зоркостью. Она поправила очки.

– Слышь, Чарли, – резко сменила тон Александра Сергеевна, и ее голос зазвучал с интонациями прожженного опера из убойного отдела. – Ты жену-то свою, Кейт, не дергай. Женщина тебе десять детей родила, пока ты из себя святого отца викторианской нации корчил. Давай-ка начистоту, без этого твоего сиропного пафоса для бедных.

Диккенс оторопел, уставившись на девяностосантиметровую фурию.

– Ты же гениальный бизнесмен и знатный манипулятор, Чарльз, – цинично усмехнулась Пушкина, задрав голову, чтобы смотреть ему прямо в переносицу. Мой физический рост пускай тебя не смущает, в отличие от твоих картонных персонажей, я ментально покрупнее всей палаты лордов буду. Твой «гуманизм» – это же чистой воды коммерческий стартап девятнадцатого века. Ты понял то, чего не поняли другие: на жалости можно поднять колоссальные бабки. Ты продавал буржуазии индульгенции оптом. Бомж на улице? Напишем про него слезоточи-

вый роман, сытый джентльмен поплачет над журнальным выпуском, купит индейку, отнесет ее беднякам, почувствует себя Иисусом и пойдет дальше грабить рабочих на своих фабриках.

– Позвольте, мисс! – задохнулся от возмущения Диккенс, выставляя вперед руку в безупречной манжете. – Мое сердце исходило кровью за каждого из этих несчастных! Я дал им голос! Я пробудил в сытых джентльменах христианское милосердие!

Александра Сергеевна властно махнула маленькой ручкой, оборвав его на полуслове:

– Молчи, Чарли. Твое милосердие – это социальный валидол, чтобы у богатых жопа не горела от страха перед классовой ненавистью. Давай препарируем твои сюжеты. У тебя же в книгах абсолютная психологическая импотенция. Все твои герои делятся на две категории: либо ангелы без единого порока, либо исчадия ада. Если Оливер Твист попал в воровской притон, он почему-то остается чистым и разговаривает на безупречном королевском английском. Это же чушь! Психология так не работает. Ребенок в таких условиях стал бы малолетним уголовником, но тебе нужен был святой сиротка, чтобы выдавить из читателя максимальное количество литров слез. А твои финалы? Это же позорище для реалиста. Вдруг откуда ни возьмись появляется богатый дядюшка, оставляет наследство, и все счастливы. Ты вместо системного анализа нищеты предлагал лотерею. Твой посыл: «Ребята, терпите голод, побои и туберкулез, возможно, в тридцать шестой главе вас усыновит миллионер».

Она подошла ближе, ее каблучки звонко щелкнули по брусчатке.

– И ладно бы ты сам верил в этот свой семейный очаг, который так яростно пиарил в «Рождественской песни». Но ты же дома устроил настоящий ад. Когда тебе наскучила растолстевшая Кейт, ты, великий моралист, закрутил роман с молодой актрисушкой Эллен Тернан. И вместо того чтобы развестись как мужик, ты попытался упечь мать своих десяти детей в психушку! Ты построил в доме стену, чтобы ее не видеть! Твой эгоизм был размером с Биг-Бен, Чарльз...

– Откуда... откуда вы это знаете? – пролепетал Диккенс, и его холеные щеки мгновенно покрылись мертвенной бледностью. – Газеты не смели... Эллен – лишь мой добрый ангел...

– Ты любил человечество в теории, на бумаге, – безжалостно перебила его Пушкина, делая шаг вперед, – а близких людей жрал живьем. Твои романы – это грандиозный фасад, за которым скрывается обычный викторианский душный абьюзер и расчетливый пиарщик.

Диккенс побледнел, хватая ртом воздух, словно ему не хватало лондонского смога. Александра Сергеевна посмотрела на него с глубочайшим презрением филолога, который видит автора насквозь.

– Но знаешь, что самое парадоксальное? – тихо добавила она, и в ее голосе снова блеснула странная, почти болезненная нежность. – Твой слог... Твои метафоры, этот твой чертов Лондон, который у тебя дышит, как живое чудовище... Твой гений слова искупает твою человеческую гниль. Ты был дрянным человеком, Чарли, но великим демиургом.

Писатель посмотрел на нее сверху вниз – уже без злости, а с какой-то мрачной, затравленной гордостью:

– Если мир – это сточная канава, мисс, то я просто продавал им духи. И они платили.

Александра Сергеевна горько усмехнулась. Она достала фляжку, сделала последний глоток джина и зажмурилась.

Когда Александра Сергеевна открыла глаза, она сидела на своем кастомном стуле в кабинете литературы. На доске была все та же надпись про обличение социальных пороков. За окном шумел унылый провинциальный дождь. Александра Сергеевна вздохнула, тщательно закрутила серебряную крышку фляжки и спрятала ее на самое дно ридикюля. Уроки на сегодня, слава богу, кончились – пустой вечер в пустой школе принадлежал только ей.

Она спрыгнула со своего учительского трона, поправила строгую юбку и подошла к окну, за которым уныло догорал провинциальный закат. Великая иллюзия викторианской эпохи рас-

таяла, оставив после себя лишь горькое можжевеловое послевкусие и отчетливое понимание того, что человеческая природа неизменна – хоть в туманном Лондоне, хоть в этой глуши.

Диоген Лаэртский

Октябрьский вечер в Энске размазывал по оконному стеклу хлипкую, сиротскую изморось. Александра Сергеевна Пушкина – Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений весил втрое больше ее самой, сидела в кресле-качалке, укутавшись в шерстяной плед.

По правде говоря, в этом кресле девяностосантиметровая женщина с точеным, строгим профилем эпохи ампира напоминала фарфоровую куклу, забытую на антикварном диване. Но стоило ей заговорить, как любой собеседник невольно подтягивал живот.

Рядом, на лакированном столике, покоилась оплетенная сухими виноградными листьями амфора, присланная бывшим учеником, ныне – крупным ресторатором из Салоников. Внутри густела «Мавродафни» – сладкое, темное греческое вино, пахнущее изюмом, костром и тысячелетним прахом. Александра Сергеевна налила жидкость в крошечную хрустальную стопку, едва превышающую размером наперсток, и благоговейно пригубила.

– О, Античность... – прошептала она, закрывая глаза. – Колыбель рации, где мысль человеческая была чиста, как родниковая вода у подножия Парнаса. Время, когда философия являлась не унылой кафедральной дисциплиной, но самым дыханием жизни, великим и трагическим поиском истины среди руин земного тщеславия. Как бережно, с каким трепетом великие историографы собирали крупинцы чужого духа, воздвигая нетленные памятники человеческой мысли...

Горло обожгло приторным, смолистым жаром. Голова Александры Сергеевны резко дернулась, плед соскользнул на пол.

– Мать твою в кедах, опять началось, – хрипло выдохнула она, распахивая глаза.

Вместо старых обоев «в цветочек» перед ней высилась колоссальная, выжженная солнцем мраморная колоннада. Воздух дышал раскаленной пылью, овечьим потом и оливковым маслом. Александра Сергеевна сидела на теплой каменной ступени портика. Ее двадцатипятикилограммовое тело, облаченное в безупречный строгий жакет, сиротливо сжалось под безжалостным небом древних Афин.

Рядом, на низком табурете, устроился мужчина в просторном, но порядком засаленном гиматии. У него были цепкие, совершенно невыразительные глаза провинциального чиновника и свиток папируса на коленях. Мужчина макал тростниковое перо в чернильницу и с любопытством разглядывал гостью.

– О, клянусь собакой, какой курьезный субъект! – воскликнул он на чистейшем древнегреческом, который Александра Сергеевна, к своему удивлению, знала в совершенстве. – Природа явно пожадничала на глину, но щедро плеснула спеси. Кто ты, дитя, и откуда на тебе эти варварские одежды с пуговицами?

Пушкина мгновенно сориентировалась. Анамнез был ясен: греческое вино сработало как машина пространства и времени.

– Я не дитя, любезнейший, – ледяным тоном оборвала она. – Я Александра Сергеевна. Тридцать лет педагогического стажа в средних и старших классах, сожравших мои нервы, но отточивших разум. А ты, судя по убогому конспекту и замашкам сплетника с привоза, – Диоген Лаэртский?

Мужчина просиял, обнаружив редкие желтоватые зубы.

– Он самый! Историк, биограф, спаситель великих имен от забвения! Записываю вот... Погоди, «Александра»?.. Из города Энска?.. XXI век от распятия плотника? Прекрасно, прекрасно, пойдет в раздел «Курьезы и парадоксы окраин». Ну-ка, расскажи мне что-нибудь циничное, у вас там, говорят, все классики – святые?

Он занес перо над папирусом. Александра Сергеевна брезгливо поморщилась, ее крошечные пальцы сжали лацкан жакета.

– Святые? Не смеши мои седые волосы, Лаэртский. Вы, так называемые биографы, превратили историю мысли в дешевый цирк шапито. Вот взять твоего любимчика и тезку – Диогена Синопского. Вы же сделали из него икону нонконформизма! Великий киник, обличитель роскоши, человек в бочке! Мои школьники в учебниках читают о нем с придыханием. А на деле?!

Лаэртский застрочил с бешеной скоростью, довольно урча.

– На деле твой Диоген Синопский – обыкновенный клинический душнила и ментальный эксгибиционист, – отрезала Пушкина, и ее голос зазвенел, перекрывая шум афинской агоры. – Давай снимем с него этот сусальный флер «философии нищеты». Папаша его был банкиром в Синопе, фальшивомонетчиком. Сынок был соучастником, погорел на подделке монет, получил пинка под зад из родного города и приперся в Афины. Без гроша, без профессии, с уязвленным эго барчука, которого лишили кормушки. Что делает нормальный человек в такой ситуации? Ищет работу. Что делает нарцисс с филологическим уклоном? Объявляет нищету элитарным клубом!

– О, как сочно! – бормотал Диоген Лаэртский, царапая папирус. – «Нарцисс... клуб...» Записываю!

– Записывай, записывай, – цинично усмехнулась Александра Сергеевна, чей авторитет сейчас легко раздавил бы любого завкафедрой. – Этот ваш «мудрец» просто перевернул систему ценностей, чтобы не чувствовать себя лузером. Не я нищий, это вы все рабы вещей! И пошел перформанс. Жить в глиняном пифосе – это ведь не от скромности. Это чистой воды хайп, античная соцсеть! Попробуй не заметить мужика, который у всех на виду в бочке копошится. А его знаменитый фонарь днем? «Ищу человека»! Какая дешевая театральщина. Он искал не человека, он искал публику! Ему нужно было подойти к приличному гражданину, ткнуть фитилем в нос и самоутвердиться за его счет.

Лаэртский даже причмокнул от удовольствия.

– А как же его ответ Александру Македонскому? «Отойди, ты заслоняешь мне солнце»! Это ли не величие духа?

– Это ли не верх подросткового пубертатного хамства? – Пушкина презрительно фыркнула, скрестив на груди крошечные руки. – Величайший полководец проявляет к бомжу уважение, спрашивает, чем помочь. А бомж включает режим «я такой загадочный, мне ничего не надо». Это обыкновенная пассивная агрессия неудачника, столкнувшегося с истинным масштабом личности. Александр ушел, чувствуя себя великодушным, а Диоген остался в своей грязи, исходя желчью. Вся его философия кинизма – это просто легализация собственной немытости и лени. Дзюбить на площади у всех на виду и заявлять, что «было бы неплохо и голод утолять, потирая живот» – это не свобода от условностей, Лаэртский. Это психиатрический диагноз и абсолютное, свирепое неуважение к социуму, за счет которого он, к слову, и кормился, побираясь. Он препарировал общество, потому что общество выкинуло его на помойку за фальшивые деньги. Месть мелкого лавочника, завернутая в плащ философа!

– Блеск! Какая экспрессия для карлика! – восхищенно воскликнул Лаэртский, не поднимая головы от свитка. – Так и запишем: «Александра из Энска, ростом в два локтя, утверждала, что Синопский мудрец был лишь грязным эгоистом и безумцем». О, этот анекдот украсит мою шестую книгу! Читатели в Риме будут покатываться со смеху. Маленькая злая женщина в чудных одеждах судит титанов мысли!

Александра Сергеевна осеклась. Слова застряли у нее в горле. Она посмотрела на Лаэртского. Тот писал быстро, небрежно, его лицо выражало лишь глумливое, сытое любопытство коллекционера курьезов. Для него она не была Народным учителем. Она была забавной девиа-

цией. Маленькой говорящей куклой из неведомого Энска, чьи колкости можно вставить между байкой о том, как Диоген лаял на собак, и анекдотом о Платоне.

Ее великий цинизм, ее препарирование мотивов, ее уникальный взгляд на вечность – все это прямо сейчас превращалось в строчку для параграфа «Курьезы эпохи постмодерна». В сноску на полях истории, призванную развлечь скучающих патрициев. Она, которая всю жизнь щелкала авторов как орехи, сама оказалась на предметном стекле у посредственности.

– Погоди... – тихо сказала она, и в ее голосе впервые звякнула непривычная детская беззащитность, – ты ведь даже не понимаешь, о чем я говорю. Я же текст разбираю... контекст... мотивы...

– Да какая разница, крошка! – весело отмахнулся Диоген Лаэртский, ставя жирную точку. – Главное – звучит хлестко! Для параграфа о чудиках – самое то. Ну-ка, выдай еще что-нибудь про Аристотеля?

Но Александра Сергеевна уже не слышала. Перед глазами все поплыло. Мраморные колонны начали плавиться, превращаясь в вертикальные полосы на обоях. Горячий афинский воздух сменился прохладой энской осени, пахнувшей мокрым асфальтом и дымом теплоэлектростанции.

Она сидела в своем кресле-качалке. На столике стояла пустая хрустальная стопка. В окно стучал все тот же унылый октябрьский дождь.

Александра Сергеевна Пушкина медленно опустила взгляд на свои маленькие руки. Филологический трепет и абсолютный цинизм вернулись на свои места, но где-то в глубине ее огромного ума поселился странный, холодный сквозняк. Она поняла, что вечность – это не строгий экзаменатор, оценивающий глубину мысли. Вечность – это Лаэртский. Сплетник с блокнотом, которому просто нужен хороший анекдот.

«До свидания, мальчики...», Б. Окуджава

Воздух провинциального города N исходил знойным, удушливым маревом, в котором тонули скрежет трамваев на разбитых путях кольца и крики торговков у автовокзала. В кабинете русского языка и литературы, запрятанном в недрах облупленной школы, стояла благоговейная, почти монастырская тишина. Солнечный луч, пробиваясь сквозь немытое стекло и пыльные листья герани, падал на поцарапанный, покрытый пластиком учительский стол.

За ним, восседаая на подложенной под задницу специальной подушечке, обтянутой суровым бархатом, покоилась Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической мысли. Ее крошечные ножки в лакированных туфельках двадцать четвертого размера едва доходили до края сиденья, но прямая, как струна, спина и гордо вскинута голова заставляли зародышей пубертатных дегенератов, сидящих перед ней, съежиться до размеров инфузорий.

Перед ней, развалившись на задней парте, сидел Колька Спражников по кличке Косой – местный хулиган и гроза параллели, который сейчас испуганно прятал под парту вейп. Александра Сергеевна поправила безупречный шиньон, коснулась тонкими пальцами томика Булата Окуджава и заговорила. Ее голос, глубокий, бархатный, шел, казалось, из самых глубин русской культурной парадигмы.

– Послушайте, юноши и девы, этот хрустальный звон ушедшей эпохи, – произнесла она, и шестой «Г» замер. – «До свидания, мальчики...» Какая пронзительная, омытая слезами целомудрия элегия о предгрозовом предчувствии катастрофы. Автор ведет нас по залитым солнцем арбатским переулкам, где пахнет тополями и надеждой. Это реквием по нецелованной юности, где каждый слог дышит сакральной чистотой. Посмотрите, как Окуджава возносит образ женщины, матери, сестры над ужасом надвигающейся бойни. «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» Это не просто строчка, это плач Ярославны двадцатого века, тихий, благородный, лишенный площадной истерии. Мы видим этих мальчиков, чистых, как первый снег, готовых положить свои юные жизни на алтарь Отечества. Это гимн великому самопожертвованию, где личное растворяется в сакральном долге...

В этот момент Колька Косой на задней парте громко и смачно шмыгнул носом, нарушив священную вибрацию воздуха.

Александра Сергеевна медленно повернула голову. Ее огромные, пронизательные глаза, в которых читался опыт нескольких поколений затравленных классруков, сузились. Могучий интеллект, запертый в теле лилипутки, мгновенно сбросил благородную маску.

– Харкни в платок, Спражников, не оскверняй пространство, – отрезала она, и ее голос внезапно обрел леденящую, приземленную жесткость. – Впрочем, твой сопливый нос – идеальная метафора к тому, о чем мы сейчас говорим. Хватит жевать сопли эстетики, господа недоумки. Давайте снимем эти розовые очки и препарируем то, что Окуджава на самом деле зашил в этот текст, сознательно или по глупости.

Народная учительница Российской Федерации шагнула с подушки на столешницу. Рост в девяносто сантиметров позволял ей органично смотреться на столе, и в этот момент она казалась колоссом, нависшим над аудиторией.

– Вы думаете, это песня о патриотизме и высоком долге? – Александра Сергеевна цинично усмехнулась, расхаживая между стопками тетрадей. – Черта с два. Это гениальный, клинический разбор мужского инфантилизма и бабьего мазохизма. Посмотрите на этих «мальчиков». Автор пишет: «мальчики, постарайтесь вернуться назад». Почему они должны «постараться»? Да потому что они прут туда, как стадо на убой, абсолютно не понимая, куда и зачем. Это романтизация глупости. Бить врага надо умеючи, а не романтическим порывом. Юнцы, воспитанные на лозунгах, бегут от реальности, от ответственности, от необходимости строить

жизнь, в приключенческий туман войны. Для них война – это не кровь и оторванные конечности, а красивый повод не сдавать экзамены и прослыть героями, не приложив к этому ни грамма интеллектуального труда. Они «принарядились», понимаете ли. Шинели им к лицу, сапоги начищены. Это чистой воды нарциссизм на пороге морга.

Она остановилась у края стола, заглядывая в непонимающие глаза отличницы Валентины Салоед.

– А теперь посмотрим на женщин в этом тексте. Мужской мир уходит красиво погибать, оставляя женщинам самую грязную, неблагодарную работу – выть на пороге и хоронить. Автор фактически легитимизирует бабий вой как норму бытия. Женщина в этой парадигме – лишь пассивный декоративный элемент, функция скорби. «Мы до времени с ними расквитаемся», – пишет он. Чем расквитаемся? Смертью своей? То есть величайший эгоизм «мальчика» заключается в том, чтобы сдохнуть красивым, оставив мать сходить с ума от горя в пустой коммуналке. Это не подвиг, это эмоциональный шантаж колоссального масштаба, возведенный в ранг поэзии.

Александра Сергеевна подошла к томику Окуджава и брезгливо перевернула страницу кончиком карандаша.

– Окуджава пишет: «До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад...» Но обратите внимание, как меняется тональность. Девочкам на войне делать нечего в мужском понимании, их присутствие там ломает мальчикам всю романтику. Мужчины хотят быть единственными владельцами славы и смерти. Этот текст – манифест поколения, которое предпочло красиво погибнуть под музыку, вместо того чтобы жить, пахать и разгребать дерьмо, оставленное предыдущими поколениями. Окуджава завернул трусость перед сложной, скучной мирной жизнью в красивую обертку из арбатского романтизма. И вы, стадо баранов, послушно хаваете этот миф о «чистых мальчиках», не видя за ним банального нежелания взрослеть.

Она замолчала. Класс сидел, боясь вздохнуть. Физически маленькая женщина ментально раздавила их, уничтожив привычный школьный штамп и обнажив горькую, неприглядную правду человеческого эгоцентризма.

Александра Сергеевна аккуратно села обратно на свою бархатную подушечку, поправила складки юбки и снова посмотрела на притихшего Кольку Спражникова.

– Запишите домашнее задание, – сухо произнесла она, и в ее голос вернулась благородная профессорская мягкость. – Напишите эссе на тему «Роль личного эгоизма в формировании батального мифа». И упаси вас бог списать из Интернета. Я узнаю об этом раньше, чем вы додумаетесь нажать кнопку «копировать». Свободны.

«Добывайки», Мэри Нортон

Палаты водолечебницы № 3 областного санатория «Красный текстильщик» утопали в полуденном мареве. Воздух, густой от испарений сероводорода и хвойного концентрата, казался осязаемым, почти бунинским. Солнечный луч пробивал матовое стекло, дробился в брызгах бурлящего джакузи и падал на кафельный пол, где на специальной ортопедической скамеечке, едва возвышаясь над бортиком бассейна, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Ее крошечная фигура – девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической диверсии – была облачена в махровый халат самого малого детского размера, из рукавов которого благородно выдавались тонкие, унизанные старинными кольцами пальцы. Рядом, по уши в мыльной пене, страдал от радикулита и скуки Петр Оскарович Уй, завкафедрой физического воспитания местного вуза, мужчина комплекции загнанного бегемота.

– Вы только вдумайтесь, Петенька, в эту хрустальную, щемящую мистерию, – Александра Сергеевна закрыла глаза, и ее голос, бархатный, неожиданно глубокий альт, полетел под своды сырого зала. – Мэри Нортон создала не просто сказку. «Добывайки» – это великий реквием по уходящей викторианской ментальности, апофеоз островного духа. Какая сакральная геометрия смыслов! Под половицами старого дома, в вечной тени и в пыли, ютится микрокосм. Семья Курантов – Поди, Хомили и малютка Ариэтта. О, этот трепетный, почти религиозный изоляционизм! Они не крадут – они добывают. Каждая вещь, будь то булавка или марка с портретом королевы, становится артефактом, деталью их рукотворного рая. Это же гимн человеческому созиданию перед лицом титанического, равнодушного космоса «больших людей». Какое целомудрие мысли, какая звенящая, пасторальная грусть о невозвратном...

В этот момент из неисправной форсунки джакузи с противным хлопаньем вылетела ржавая гайка и с металлическим звоном покатила к ногам Народной учительницы РФ.

Александра Сергеевна открыла один глаз, посмотрела на гайку, затем на побагровевшего Петра Оскаровича. Лицо ее мгновенно утратило выражение патетической скорби. Взгляд двадцатипятикилограммовой женщины стал тяжелым, как могильная плита.

– Хотя если снять розовые очки и убрать из жопы филологический катарсис, Петя, то эта книжка – гениальное пособие по криминальной психологии и семейному абьюзу, – сухо отчеканила она, поправляя съехавший на лоб крошечный чепец. – Мэри Нортон написала суровый манифест о том, как три нищих, дегенеративных паразита оправдывают свою полную импотенцию высокими идеалами.

Петр Оскарович Уй поперхнулся пеной и замер.

– Да-да, Петенька, не пучьте на меня свои физкультурные зенки, – продолжила Александра Сергеевна, чей ментальный масштаб сейчас прижимал грузного завкафедрой к кафельному дну. – Давайте препарируем этих тварей. Кто такой Поди? Глава семейства? Это же классический домашний тиран с комплексом вахтера, помноженным на стокгольмский синдром. Он всю жизнь лазает по шторам, рискуя свернуть шею ради кофейной ложки, но при этом ссыт от ужаса перед мыслью выйти на улицу. Он создал патриархальную диктатуру. Его жена Хомили – типичная провинциальная мещанка с тяжелым неврозом. Вспомните текст: у нее вся жизнь крутится вокруг чужого хлама. Ей приволокли викторианскую марку – и все, у бабы экстаз, она чувствует себя герцогиней Мальборо, сидя на куске грязного фетра под полом, где воняет дохлыми крысами. Это же чистая клиника, Петр! Синдром Плюшкина в терминальной стадии, обернутый в винтажный антураж.

Александра Сергеевна свесила тонкие ножки со скамеечки и погрозила Ую крошечным кулаком.

– А дочка, Ариэтта? Девку заперли в четырех стенах без солнечного света. Мать пилит ее за неправильно подметенную пыль, отец запугивает историями про то, как их сородичей сожрали кошки. Классическое домашнее насилие и ограничение свободы. И тут появляется Мальчик. Что делают нормальные существа, встретив создание другого масштаба? Пытаются наладить дипломатический контакт, выбить гуманитарную помощь. Что делает этот старый дурак Поди? Он включает кастовую гордость! «Мы не берем подачек!» Да ты всю жизнь только тем и занимаешься, что капитализдишь у хозяев сахар и пуговицы, нищевод ты подземный! Какая разница, подобрал ты упавшую булавку или тебе ее положили на пол?

Пушкина презрительно фыркнула, ее филологический ум шелкал аргументы, как орехи.

– Но наивысший цинизм – это финал. Как только их лавочку накрыла экономка, эта святая семейка эвакуируется на природу. И Нортон пытается продать нам это как триумф свободы. Свободы? Да они там сдохнут через две недели от сырости и глистов! Без центрального отопления, без ворованных спичек и чая они никто. Это рассказ о том, как паразитическая экосистема, возомнившая себя венцом творения, разрушается от первого же столкновения с реальным менеджментом в лице суровой горничной со шваброй. Абсолютный, рафинированный инфантилизм под видом семейных ценностей.

Александра Сергеевна замолчала, тяжело дыша. Ее крошечное тело казалось недвижимым, но энергия, исходившая от нее, заставила Петра Оскаровича Уя судорожно вжать голову в плечи.

Глаза учительницы снова затуманились чеховской грустью. Она ласково улыбнулась притихшему завкафедрой и тихо произнесла:

– Кстати о паразитах, Петя... Вы ведь не забыли, что сегодня ваша очередь капитализд... э... добывать сухие пайки на полдник? Жду вас в холле через десять минут.

Дойль, Артур Конан

Напольная ваза императорского фарфора, в которой Александра Сергеевна Пушкина прятала от зоркого глаза директора школы чекушку пятизвездочного коньяка, сияла золоченой кобальтовой сеткой. Народный учитель РФ, чья голова в седой букле не достигала и дверной ручки, аккуратно взгромоздилась на толковый словарь Даля, чтобы дотянуться до заветного горлышка.

Девяносто сантиметров чистой филологической ярости и двадцать пять килограммов концентрированного цинизма требовали дезинфекции после проверки изложений девятого «Г». Александра Сергеевна сделала три глотка, закусил ириской и зажмурилась. Она совершенно забыла, что хороший алкоголь всегда действовал на ее мозг как несанкционированный телепорт.

Воздух сгустился, приобретая плотность и благородный серый оттенок лондонского сплина.

Казалось, сам Творец разлил над берегами Темзы жидкое серебро, укутав готические шпили Вестминстера в саван предвечной поэзии. В этой величественной полутьме, где плакали газовые фонари и благочестивые джентльмены шествовали в свои клубы, рождалась величайшая мифология Нового времени.

Мир викторианского порядка, омываемый благословенным дождем, замер в ожидании гения, способного упорядочить хаос человеческого бытия с помощью чистого, незамутненного Разума. Это была колыбель великой литературы, где каждый слог дышал протестантским целомудрием, а детективный жанр возводился в ранг строгой, почти сакральной науки, воспевающей торжество человеческого интеллекта над хтонической тьмой порока.

Александра Сергеевна открыла глаза, чертыхнулась и обнаружила, что сидит в глубоком кожаном кресле на Бейкер-стрит. Из-за каминной полки на нее уставился высокий, плотный мужчина с вислыми усами и недоумением во взоре. В руке он держал стакан односолодового шотландского виски.

– Вы кто, мисс? – спросил сэр Артур Конан Дойль. – Новая пациентка? На благотворительность я сегодня не подаю.

Александра Сергеевна поправила съехавшие на кончик носа очки в золотой оправе, прыгнула с кресла – ноги ее в ортопедических туфлях смешно повисли в воздухе, а затем утонули в ворсе ковра, – и посмотрела на создателя Шерлока Холмса снизу вверх. С высоты своего ничтожного роста она умудрилась взглянуть на него как судебный медик на несвежий труп.

– Подайте себе мозгов, Артурчик, – отрезала она на безупречном английском. – И не называйте меня «мисс». Для вас я – приговор министерства просвещения. Налейте-ка мне вашего торфяного лекарственного масла, раз уж я застряла в этом вашем чахоточном девятнадцатом веке.

Дойль механически плеснул виски на донышко стакана. Маленькая женщина перехватила стакан двумя руками, как ребенок чашку с какао, махом осушила его и утерлась кружевным платком.

– Ну что, великий бытописатель имперских амбиций? – Александра Сергеевна прошла по комнате, заложив руки за спину. Ее крошечная фигура в строгом английском жакете выглядела нелепо, но голос гремел, как иерихонская труба. – Вы ведь искренне считаете себя серьезным историческим романистом, да? Не спите ночами, оплакиваете свой «Белый отряд», обижаетесь, что публика требует скрипача-кокаиниста, а не вашего вымученного «Сэра Найджела» и унылые кирпичи про средневековых рыцарей?

– «Белый отряд» – это моя вершина! – багровея, воскликнул Дойль. – Это дух старой Англии! А Холмс... Холмс – это просто коммерческая поделка, низкий жанр для развлечения обывателей!

Александра Сергеевна издала сухой, лающий смешок.

– Милый мой, ваш «Белый отряд» – это графоманская сублимация неудачника, который всю жизнь стыдился своего истинного, животного гения. Вы создали величайший гимн человеческому эгоизму и тотальному одиночеству, а думаете, что написали бульварный детектив. Давайте препарировать вашего Холмса без школьного глянца. Кто он? Великий гуманист? Защитник слабых? Не смешите мои седые букли. Шерлок Холмс – это рафинированный, клинический социопат с тяжелой формой ангедонии. Он берется за дела не ради справедливости. Ему плевать, повесят ли невиновного или украдут ли у герцога фамильные панталоны. Его мозг – это заржавевшая машина, которая без кокаина и чужих грязных тайн начинает жрать сама себя.

Дойль схватился за сердце:

– Это образец мускулистого протестантизма! Он джентльмен! Он спасает людей!

– Он спасает себя от скуки, дурачина! – Пушкина ткнула крошечным пальцем в стопу писателя. – Вы вспомните, как он радуется, когда в Лондоне густеет туман и выползают самые гнусные преступники. Ваш Холмс – это ментальный стервятник. Чем кровавее убийство, тем шире у него зрачки. А этот ваш кастрированный доктор Уотсон? Вы же создали идеальный архетип терпилы! Уотсон – это не друг. Это комнатная собачка, которую держат исключительно для того, чтобы на ее фоне казаться полубогом. Вы заставили миллионы читателей восхищаться дедуктивным методом, который на самом деле является натуральным фашизмом чистой логики. Холмс презирает человеческие чувства. Любовь для него – «эмоциональная вещь, противоположная разуму», как он заявлял Уотсону! Он выхолостил из себя человека, превратился в счетную машину. И вы, его создатель, вместо того чтобы ужаснуться этому монстру, пытались пичкать нас историями про благородство!

– Я убил его! – почти закричал Дойль, тяжело дыша. – Попытался убить. Я сбросил его в Рейхенбахский водопад, потому что он отвлекал меня от великой исторической прозы! От Наполеоновских хроник! От высших смыслов! От спиритизма! От общения с духами!

Александра Сергеевна остановилась. Ее маленькое лицо исказила гримаса такой глубокой жалости и презрения, что Дойлю захотелось сжаться до ее размеров.

– И это – главная трагедия вашей творческой импотенции, Артур. Вы испугались собственной гениальности. Вы написали библию для эпохи кризиса веры. Когда наука убила Бога, вы дали людям Холмса – нового Бога, который придет, посмотрит на грязь под ногтями и скажет, кто виноват. А потом вы сами испугались этого бездушного идола и ударились в спиритизм. Взрослый, массивный мужчина, врач, фотографирующий бумажных фей и верящий в эктоплазму! Вы променяли абсолютную, звенящую логику своего персонажа на дешевые фокусы шарлатанов с медиумами. Вы воскресили его не потому, что уступили публике, а потому что ваш собственный мозг без этой подпорки превратился в кашу из мистики и суеверий. Вы оказались слабее своего вымысла. Холмс пережил вас, потому что он – чистая функция, а вы – просто смертный, запутавшийся в своих комплексах викторианец.

Дойль опустился на стул, глядя на трехфуттовую женщину, которая только что без ножа вскрыла его душу, оставив там зиять пустоту.

– Кто вы?.. – прошептал он.

– Я – Александра Сергеевна, – гордо подняла голову лилипутка. – И у меня завтра открытый урок по зарубежной литературе. Я заставлю этих оболтусов ненавидеть ваши исторические романы и боготворить вашего кокаинового наркомана. Потому что порок, доведенный до абсолюта – это и есть настоящее искусство. А ваши фейри – это чушь для младших классов.

Она сделала шаг назад, споткнулась о край ковра и полетела спиной в пустоту.

...Александра Сергеевна тряхнула головой. В глаза ударил знакомый свет люминесцентных ламп кабинета русского языка и литературы. Она сидела в обнимку со словарем Даля на линолеуме возле напольной вазы, юбка была слегка задрана, а из кармана пиджака выпала ириска.

На пороге кабинета стояла завуч, Маргарита Николаевна, с пачкой отчетов.

– Александра Сергеевна! Вы что тут делаете на полу? И... от вас пахнет алкоголем?

Пушкина легко, со сноровкой старого циркового артиста, поднялась на ноги, отряхнула юбку и посмотрела на завуча снизу вверх своим фирменным взглядом королевы в изгнании.

– Маргарита Николаевна, от меня пахнет кризисом викторианской эпохи и крушением позитивизма. А на полу я искала логику в ваших учебных планах. Спойлер: ее там нет, как и в позднем творчестве Конан Дойля. Свободны.

«Доктор Живаго», Б. Пастернак

Июньский полдень исходил тяжелым, маслянистым зноем, плавящим асфальт на перроне провинциального вокзала, где пахло мазутом, беляшной гарью и близкой грозой. Поезд опаздывал на час, и редкие пассажиры плавились на душных лавках точно восковые фигуры.

Среди этого вокзального марева, на самом краю облупившейся скамьи, сидела Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель Российской Федерации, казалась случайно забытой кем-то фарфоровой куклой. Девяносто сантиметров безупречной, точеной стати, строгий кружевной воротничок-жабо и крошечные туфельки двадцать четвертого размера, едва приметно покачивающиеся вдали от грязного пола.

Рядом с ней, потев в шерстяном костюме, сидел молодой учитель химии Витенька Лихопизгин, направлявшийся на окружной семинар и опрометчиво вызвавшийся сопровождать живую легенду городского образования.

– Послушайте, Витенька, этот воздух... – голос Александры Сергеевны, густой, бархатный, совершенно контральтовый, никак не вязался с ее двадцатипятикилограммовым, детским весом. Она прикрыла глаза, и веера ее ресниц дрогнули. – Он ведь насквозь пропитан духом Бориса Леонидовича Пастернака. Этот вокзал, эти затерянные в глуши стрелки, этот гул уходящей эпохи... «Доктор Живаго» – это не просто роман, голубчик. Это великая, звенящая литургия по уходящей русской интеллигенции, чистой, как первый снег в Варыкино. Какая хрупкость духа, какое метафизическое созерцание! Помните ли вы, как Юрий Андреевич смотрит на свечу за заиндевшим стеклом? Ведь эта свеча горела не на столе, она горела в самой вечности, освещая трагедию мыслящего тростника, брошенного в жернова безжалостной истории. Это гимн пассивному, святому непротивлению, где герой, точно Христос, несет свой крест через метель и революционный хаос, сохраняя в душе незапятнанный алтарь искусства и любви к Ларе – этой живой, кровоточащей ипостаси самой России...

В этот момент тишину вокзала взорвал хриплый, утробный вопль привокзального громкоговорителя: «Внимание! Поезд номер триста два прибывает на второй путь! Повторяю, на второй путь! Граждане, убирайте шмотки с платформы!»

Александра Сергеевна резко открыла глаза. В их бездонной филологической глубине мгновенно вспыхнул и погас холодный, сатанинский огонек. Она легко, одним движением, перекинула свою крошечную ножку за ножку, повернула к обалдевшему химику бледное лицо и заговорила совершенно иным – сухим, бритвенно-острым и безжалостным тоном:

– Господи, Витенька, какую же ахинею нам втирают в методичках и какую же хренотень я вынуждена заставлять читать этих несчастных одиннадцатиклассников. Вы вообще, Лихопизгин, этот текст глазами читали или тем местом, которым у нас обычно голосуют на педсоветах? Давайте снимем этот благостный херувимский флер и препарируем нашего святого доктора. Кто такой Юрий Живаго с точки зрения элементарной психиатрии и социальной гигиены? Это же эталонный, дистиллированный, клинический слизняк. Тряпка, которую полощут в проруби истории, а он при этом умудряется строить из себя скорбного гения. Нам его подают как жертву эпохи, но эпоха тут ни при чем – он просто патологический эгоцентрик и бытовой паразит. Посмотрите на его так называемую «трагедию». Мужчина, дипломированный врач, на минуточку! В стране тиф, разруха, голод, люди жрут сырую конину, а наш Юрочка страдает от того, что у него «рифма не складывается».

Она брезгливо поморщилась, достала из крошечного ридикюля белоснежный кружевной платок и изящно промокнула благородную испарину на лбу. Взгляд ее при этом оставался жестким и фиксированным, как прицел снайперской винтовки.

– Вся его жизнь – это грандиозный забег от ответственности. У него есть жена, Тоня. Прекрасная, святая женщина, которая тащит на себе его ребенка в ледяной Москве и заглядыв-

вает в рот, пока он бежит по углам. Что делает наш великий гуманист, когда им грозит голодная смерть? Он везет семью в глухомань, в Варыкино, на подножный корм. И как только они туда добираются, Юрочка моментально находит себе Лару. Знаете, почему? Потому что Лара – это точно такой же психологический труп, только в юбке. Ей тоже очень нравится красиво страдать на обломках империи.

Александра Сергеевна сделала паузу, шумно и требовательно втянув ноздрями душный вокзальный воздух, словно ей физически не хватало кислорода от масштаба описываемого свинства. Лихопизгин вжал голову в плечи.

– Вы вчитывались в сцены их варыкинского «счастья»? Это же чистый сюрреализм и грязный реализм в одном флаконе. Вокруг тайга, бандиты, красные партизаны, жрать нечего. Две бабы – законная и незаконная – копают картошку, стирают его вшивые кальсоны, а доктор сидит в нетопленной комнате и пишет стихи про свечу. Свеча, сука, горела! Да если бы у него руки росли из нужного места, он бы дрова колол, чтобы его женщины и дети не замерзли, как собаки! Но нет, физический труд разрушает его тонкую душевную организацию. Юрий Андреевич выше этого. Он позволяет бабам тащить себя на горбу через весь этот кошмар, а сам благородно рефлексит.

Она резко взмахнула своей крошечной ручкой, едва не задев пуговицу на шерстяном пиджаке соседа. Тот испуганно отпрянул, словно защищаясь от удара.

– А этот его пассаж с партизанским пленом? Его забирают в отряд Ливерия Микулицына. Ему дают винтовку, идет бой. Наш гуманист, чтобы не дай бог не нагрешить, стреляет в раненую березу! В березу, Витенька! А в это время пацаны-гимназисты, которых погнали в бой, ложатся рядами под пулеметы. Его медицинская клятва Гиппократов идет лесом, он просто спасает свою шкуру и свою стерильную совесть.

От возмущения ее воротничок-жабо, казалось, мелко затрепетал. Она с силой хлопнула ладонью по облупившемуся дереву скамьи – звук получился сухим и звонким, как пистолетный выстрел.

– Но апофеоз его цинизма – это, конечно, финал их лав-стори с Ларой. Появляется Комаровский. Да, мерзавец, да, адвокат дьявола, но он – единственный в этом романе вменяемый мужик с яйцами, который понимает, что если сейчас этих двоих придурков не увезти, их просто шлепнут в ближайшем овраге за углом. И что делает Живаго? Он малодушно, как последний трус, обманывает Лару, сажает ее в сани к Комаровскому, а сам остается. Нам говорят: «Ах, это жертвенный жест, он отпустил ее ради ее же спасения!» Чушь собачья! Ему просто надоел этот бытовой ад, ему надоело нести ответственность за женщину и ребенка. Он хотел остаться один, запереться в глуши, пить самогон с местными мужиками и строчить свои гениальные вирши. Он ее просто слил. Слил Комаровскому, потому что так удобнее.

Александра Сергеевна ядовито усмехнулась. На ее фарфоровом лице эта гримаса смотрелась жутковато – так мог бы улыбаться маленький, но очень сытый демон.

– А финал? Возвращается в Москву, опускается, трахает дочку бывшего дворника Маркела, рождает с ней еще детей, которых тоже бросает, ходит в рваных штиблетах и умирает в душном трамвае, потому что у него, видите ли, «не хватило воздуха». Воздуха ему не хватило! Да ему всю жизнь не хватало элементарного хребта! Пастернак написал великую книгу не о величии духа, а о том, как русская интеллигенция просрала страну из-за своей тотальной неспособности забить гвоздь и принять решение. Они умели только красиво умирать под музыку, оставляя после себя внебрачных детей и томик стихов в мягкой обложке.

Александра Сергеевна замолчала. На перрон с грохотом влетел старый локомотив, обдав их облаком горячего пара и запахом каленого железа.

Витенька Лихопизгин сидел бледный, с открытым ртом, боясь даже вздохнуть. Ментальная лавина, сошедшая с этой крошечной женщины, казалось, физически придавила его к скамейке.

Александра Сергеевна бережно поправила крошечную сумочку на плече, легко спрыгнула с лавки на перрон, оказавшись Лихопизгину ровно по пояс, и, не оборачиваясь, бросила через плечо своим царственным контральто:

– Ну что вы застыли, Виктор Игоревич? Хватайте чемоданы. Наш поезд пришел. Пора ехать и учить этих оболтусов разумному, вечному и циничному.

«Дон Кихот», М. Сервантес

Майский зной лениво перекашивался через растрескавшийся асфальт школьного двора, застревая в пыльных кронах тополей, чья пуховая седина устилала землю, подобно савану ушедшей эпохи. Кабинет русского языка и литературы дышал истомой и легким перегаром вчерашнего праздника жизни, исходившим от задних парт. Там, уткнувшись в засаленные экраны китайских смартфонов, колыхалась безликая масса восьмого «Г» – цветущий сад дегенерации, где юные девицы с поддельными ногтями феноменальной длины обменивались глупостью, словно валютой.

За дубовым столом, возвышавшимся подобно капитанскому мостику тонущего фрегата, не было видно учителя. Лишь изредка над полированным краем мелькала седая, безупречно уложенная в тугой узел голова. Александра Сергеевна Пушкина встала на специальную скамеечку, заботливо сколоченную трудовиком-алкоголиком еще до распада СССР. Ровно девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической ярости и тридцать лет учительского стажа. Ее крошечные пальцы, унизанные старинными фамильными кольцами, бережно покоились на потертом томе великого Мигеля де Сервантеса Сааведры.

Она заговорила, и голос ее – густой, бархатный, невероятно глубокий альт, совершенно не вязавшийся с ее птичьим телом, – мгновенно заполнил душный класс.

– О, дети мои, – произнесла Александра Сергеевна, закрыв глаза в экстазе святого благоговения. – Если бы вы только могли воспарить разумом над сточной канавой вашего пубертата и вдохнуть этот чистый, горный воздух кастильских плоскогорий! Сервантес сотворил не просто роман, он воздвиг сияющий храм человеческому духу. Посмотрите на этот святой канон рыцарства, на эту трагическую, ослепительную фигуру Алонсо Кихано! Человек, чей разум, утомленный серостью бытия, сотворил великую иллюзию Любви, Чести и Справедливости. Он видит в ветряных мельницах исполинов зла, потому что его сердце бьется в унисон со Вселенной, где добро обязано обнажить клинок. Это величайший гимн идеализму, чистейшая слеза на грязном лице человечества, великая драма одинокого пророка, несущего свет в мир тьмы и мещанства...

В этот момент на третьем ряду Надья Шлюлькина, чьи губы напоминали две сосиски, не удержавшиеся в оболочке, громко, на весь класс чавкнула жвачкой и с придыханием высморкалась в кружевную салфетку.

Александра Сергеевна открыла глаза. Ее левый зрачок, острый и холодный, как скальпель патологоанатома, зафиксировал Шлюлькину. Интеллигентный пафос осыпался с лица великаниши духа, словно дешевая штукатурка.

– Выплюнь это дерьмо из пасти, Шлюлькина, пока я не заставила тебя сожрать его вместе с твоим копеечным маникюром, – ледяным, обыденным тоном процедила Пушкина, легко спрыгнув со скамейки на пол.

Теперь она стояла посреди класса – маленькая, похожая на грозную фарфоровую куклу, но восьмой «Г» инстинктивно вжал головы в плечи. Ментальный пресс этой лилипутки весил примерно тонну.

– Слушайте сюда, жертвы бесплатного образования, – Александра Сергеевна оперлась крошечным кулачком на парту отличника Дениса Гречкина-Сухова, который от страха перестал дышать. – Все, что вам втирают в хрестоматиях про «светлого рыцаря» – это чушь для клинических идиотов. На самом деле «Дон Кихот» – это гениальный, леденящий душу разбор того, как один высокомерный, эгоистичный мудака с потекшей крышей может превратить в ад жизнь всех, до кого дотянется.

Она прошла по классу, стуча каблучками.

– Давайте препарируем этого вашего «идеалиста». Кем был Алонсо Кихано? Пятидесятилетний бездельник, нищелюб, который заложил последнее имущество, просрал фамильные земли, чтобы покупать бульварное чтиво про эльфов и драконов. Работать? Нет. Жениться? Упаси бог, это же ответственность. Он просто заперся в комнате, задзюбил свои книжки до дыр, пока мозг окончательно не разжижился, а потом решил: «Я демиург, мне все дозволено».

Она резко развернулась на каблуках, указав пальцем на окно, словно там стояли те самые мельницы.

– Вы думаете, он защищает слабых? Открываем текст, придурки, и читаем глазами, а не тем местом, которым вы сидите в «Одноклассниках». Эпизод первый: пастушок Андрес. Наглый сопляк по раздолбайству терял хозяйских овец, хозяин его за это порол. Принимается ли наш «рыцарь» разбираться в экономике вопроса? Хрен там. Он угрожает хозяину копьем, заставляет поклясться, что тот заплатит мальчишке, и уезжает, гордый своей «справедливостью». Что делает хозяин, как только Дон Кихот скрывается за холмом? Привязывает пастушка обратно к дубу и высыпает ему столько плетей, что парень чуть не отправляется к праотцам. Дон Кихоту плевать на последствия для Андреса, ему важен собственный оргазм от чувства своего величия! Он нарцисс в терминальной стадии.

Пушкина горько усмехнулась, качнув головой:

– А история с каторжниками? Наш святоша встречает конвой, перевозящий закоренелых бандитов, мелких воришек, жуликов и сутенеров. И что делает этот гений правосудия? Он их освобождает, потому что «негоже отнимать свободу у тех, кому Бог ее дал». Чистой воды либеральный бред сумасшедшего! И каков итог? Освобожденные эки тут же закидывают своего спасителя камнями, отбирают у него одежду, грабят несчастного Санчо Пансу и сваливают в закат. Сервантес – жестокий циник, он открытым текстом говорит: если ты, дебил, лезешь ломать государственные институты ради своих розовых соплей, тебя же первыми и ограбят те, ради кого ты распинался.

Она подошла к парте Шлюлькиной и заглянула ей прямо в лицо снизу вверх, но Надька сжалась так, будто Пушкина была пятиметровым великаном.

– И, конечно, Дульсинея Тобосская. Любовь всей жизни! Образ чистой девы! А на деле? Обычная деревенская девка Альдонса Лоренсо, которая, как пишет автор, лучше всех в округе солила свинину и обладала крепким мужским кулаком. Кихот любил ее исключительно на расстоянии и годами боялся к ней подойти. Знаете почему? Потому что реальная женщина с ее бытом, месячными, запахом пота и навоза разрушила бы его эгоцентричный миф. Ему не нужна женщина. Ему нужен абстрактный бренд, ментальное рукодзюбие, ради которого можно совершать подвиги и пафосно страдать. Дон Кихот – это прародитель всех нынешних инфлюенсеров, которые создают идеальную картинку в соцсетях, пока в их реальной жизни мыши доедают последний хрен без соли.

Александра Сергеевна вернулась к столу, легко взобралась на свою скамеечку и снова оказалась над классом. Взгляд ее смягчился, вернулась прежняя филологическая глубина.

– И в этом, дорогие мои дегенераты, и кроется величие Сервантеса. Он написал не сказочку про доброго дурачка. Он показал, как страшен абсолютный, бескомпромиссный идеализм, оторванный от реальности. Человек, который считает себя правым во всем и видит мир через призму своих фантазий, приносит только разрушение, нищету и побои. А единственный персонаж, в ком осталась хоть капля земного рассудка во всей этой книге – это толстый, приземленный Санчо Панса. Он поехал за этим психопатом только потому, что надеялся получить в управление обещанный остров, чтобы кормить своих детей. Земной, шкурный интерес – вот что двигает этот мир вперед, пока «великие идеи» ломают людям хребты.

Звонок с урока пронзительно затрещал. Класс замер, боясь пошевелиться.

Александра Сергеевна аккуратно закрыла книгу.

– Домашнее задание: написать эссе на тему «Почему Санчо Панса – единственный адекватный персонаж кастильской прозы». И не дай бог я увижу там хоть одну фразу, списанную из Интернета про «рыцаря печального образа». Я лично превращу вашу жизнь в филиал романа Сервантеса. Свободны.

Восьмиклассники бесшумно, почти не дыша, потянулись к выходу, косясь на маленькую женщину, которая уже погрузилась в чтение, абсолютно потеряв интерес к ничтожному человечеству за пределами великого текста.

«Дон-Жуан», Н. Гумилев

Октябрь в провинциальном Энске укладывал проспекты в саван из мокрых тополиных листьев. Небо над средней школой № 36 висело низко, серое и рыхлое, как выстиранная сто раз холстина, сквозь которую едва сочился чахлый, умирающий свет. В кабинете русского языка и литературы пахло мелом, сырыми драповыми пальто и застарелым страхом пред экзаменационной порой.

На учительском столе, похожем на дубовый курган, возвышалась стопка тетрадей. Из-за нее едва виднелась аккуратная, безукоризненно седая голова. Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель Российской Федерации, сидела на специально подложенном толстенном томе «Большой советской энциклопедии».

Ее крошечные ножки в туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до пола, мерно покачивались в воздухе. Девяносто сантиметров концентрированного филологического ума и двадцать пять килограммов чистой, неразбавленной мизантропии. Она поправила очки тонким, детским пальчиком.

– Одиннадцатый «Г», – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный, каминный, поплыл над партами. – Сегодня мы открываем врата в святилище Серебряного века. Николай Степанович Гумилев. «Дон-Жуан». Послушайте, какая музыка духа... «Моя мечта надменна и проста...» Какой изысканный, титанический замах! Мужчина, бросающий вызов самому Хроносу. Он жаждет выпить чашу бытия до дна, лобзать новые уста, нестись на вороном коне сквозь анфилады вечности, а на закате дней – принять тяжелый железный крест искупления. Это гимн абсолютному, безудержному романтизму. Это великая трагедия духа, тоскующего по недостижимому идеалу...

Задняя парта, где восседала местная примадонна Ленка Лядская, густо накрашенная девица с интеллектом микроволновой печи, издала глумливый звук. Она со вкусом втягивала через трубочку яблочный сок, и коробка натужно, непристойно захлебнулась на весь класс.

Зависла мертвая тишина. На Лядскую посмотрели как на смертницу.

Александра Сергеевна медленно повернула голову. Из-за стопки тетрадей ее гигантский ментальный масштаб мгновенно заполнил класс, заставив Ленку инстинктивно втянуть шею в турецкое худи.

– Лядская, – нежно произнесла Пушкина, и стиль ее речи совершил крутое пики в бездну. – Выплюнь трубочку, а то подавишься, когда до твоего межушного ганглия дойдет то, что я сейчас скажу. Вы все тут сопли распустили: «Ах, романтика, ах, Дон-Жуан, великий любовник». А теперь снимем с Николая Степановича этот сусальный глянец и посмотрим на текст глазами трезвого венеролога и психиатра.

Класс замер. Пушкина легко, одним движением кузнечика, перескочила со стула на стол. Стоя на дубовой столешнице – крошечная, в строгом английском жакете, – она казалась грозным карикатурным божеством.

– О чем сонет-то, дегенераты? «Всегда лобзая новые уста». Это же диагноз! Перед нами классический, запущенный случай тяжелейшего кризиса среднего возраста, замешанного на неизлечимом нарциссизме и банальной бытовой импотенции. Наш герой панически боится старости. «Обмануть медлительное время» – это он не с вечностью спорит, он просто в зеркало посмотрел, увидел там брыли, лысину и мешки под глазами, и у него истерика случилась. Как современный папик покупает спорткар, так этот бежит «хватать весло» и «ногу в стремя».

Она прошлась по столу, чеканя шаг.

– И ладно бы просто бегал. Но посмотрите дальше. «Лобзая новые уста. А в старости принять завет Христа». Каков подлец, а? Какая дешевая, местечковая калькуляция! То есть пока работает гормональная система, я буду шляться по кабакам, портить девок, ловить сифилис по

притонам и плевать на мораль. А как только суставы заломит, простата прижмет и «лобзалка» откажет – я приду к Богу. Потуплю взор, посыплю лысину пеплом и скорчу из себя великого мученика с железным крестом на пузе. Это не религиозный трепет, Лядская. Это самый гнусный, шкурный бартер с Господом Богом за бесплатный билет в рай после пожизненного блуда.

Ученики сидели, боясь вздохнуть. Ленка Лядская забыла, как дышать.

– Но самое прекрасное – это терцеты, – Пушкина хищно улыбнулась, ее очки блеснули. – «И лишь когда среди оргии победной я вдруг опомнюсь...». Вы думаете, у него совесть проснулась? Хрен там. Это паническая атака на фоне алкогольного похмелья. Он вдруг понимает страшную вещь: «Я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом». Перевожу на ваш птичий язык: чувак осознал, что он – стопроцентный, рафинированный эгоист и социальный инвалид. Он всю жизнь относился к бабам как к одноразовой посуде. «От женщины» – заметьте, в единственном числе, абстрактной! Для него ни одна из них не была человеком, просто функцией для лобзания. И закономерный финал – он остался один в пустой квартире, со своим радикулитом – никому не нужный «атом». У него нет ни друзей («не звал мужчину братом»), ни семьи.

Она остановилась у самого края стола, прямо перед первой партой, и сверху вниз посмотрела на класс. Ее маленькие ручки были скрещены на груди.

– Гумилев гениален, потому что он, сам того не желая, вывернул наизнанку всю ничтожность эгоцентричного мужика. Весь этот сонет – это не ода свободе. Это скулеж одинокого, испуганного нарцисса, который профукал жизнь на дешевые эффекты, а под конец понял, что даже сдохнуть ему придется в компании собственного эгоизма. Запишите тему домашнего сочинения: «Синдром упущенной выгоды и кризис маскулинности в сонете "Дон-Жуан"».

Пушкина легко спрыгнула со стола обратно на свой том энциклопедии и снова скрылась за баррикадой тетрадей.

– Звонок через минуту. Лядская, коробку из-под сока – в урну в коридоре. И рот закрой, туда муха залетит.

Достоевский Федор Михайлович

Октябрьский вечер в провинциальном N-ске дышал сыростью, гнилой капустой и безысходностью, свойственной всем городам, застрявшим между Среднерусской возвышенностью и вечностью.

Народный учитель Российской Федерации Александра Сергеевна Пушкина сидела в своей хрущевке, поджав крошечные ноги под туловище. При росте в девяносто сантиметров и весе упитанного первоклассника на кухонном табурете она выглядела фарфоровой статуэткой, если бы не монументальная, высеченная из гранита филологического знания голова и тяжелый, сверлящий взгляд черных глаз.

На столе, покрытом клеенкой с нарисованными ромашками, высилась непочатая бутылка дешевого портвейна «777» и лежал засохший кусок ржаного хлеба с солью. Это был ритуал. Накануне открытого урока по «Преступлению и наказанию» Александра Сергеевна всегда реконструировала быт. Она налила липкую, пахнущую сивухой и перебродившим виноградом жидкость в граненый стаканчик, который в ее крошечной ладони казался огромным кубком, и сделала два честных, глубоких глотка.

Глаза ее закрылись. Разум, измученный проверкой тетрадей одиннадцатого «Г», привычно дал осечку, и пространство вокруг изогнулось.

Воздух сделался густым, маслянистым, наполненным ароматами табака, разливного кофья и тонким, едва уловимым душком дешевых духов, смешанных с запахом немытых тел. Это был Петербург. Не тот парадный, гранитный город, воспетый в одах, но Петербург внутренний, затаившийся в доходных домах у Сенной.

За окном расстилалась туманная панорама, где шпили церквей пронзали брюхо свинцового неба, словно ржавые иглы – серую ветошь. Из угла комнаты доносился мерный, убаюкивающий стук маятника, а на кушетке, обтянутой пошарпанным зеленым репсом, восседал мужчина с окладистой бородой, высоким бледным лбом и лихорадочным блеском в полуприкрытых глазах.

Александра Сергеевна сидела на огромном стуле напротив, едва доставая подбородком до края массивного дубового стола. Она опять забыла, что «три семерки» отправляют ее в трип, и на секунду зажмурилась от злости. Но филологический трепет мгновенно взял верх.

– Федор Михайлович, – выдохнула она, и голос ее, на удивление густой и бархатный, зазвучал под сводами комнаты. – Какое величие духа... Какая бездонная, пугающая глубина человеческого сердца открывается в ваших писаниях! Вы – анатом русской души, уловивший тот самый миг, когда тварь дрожащая дерзает стать право имеющей. Ваш Раскольников – это же не убийца, это Иов, взыскующий Бога на дне петербургского колодца! А Сонечка? Смирение, искупающее грехи всего мира... Какая святая, жертвенная чистота посреди грязи и порока!

Мужчина на кушетке вздрогнул, самодовольно разгладил бороду и приготовился слушать оду своему гению.

Но Александра Сергеевна вдруг икнула, поморщилась от фантомного послевкусия портвейна, и взгляд ее из благоговейного стал холодным, как скальпель патологоанатома. Она легко спрыгнула со стула – ее туфли 24-го размера глухо стукнули по паркету – и, заложив руки за спину, начала мерить комнату шагами, снизу вверх глядя на великого классика.

– Хотя, кого я обманываю, Федор Михайлович? – резко сменила она тон на скрипучий, злой альт. – Давайте снимем эти кружева. Какая, к черту, «высшая мораль»? Ваше «Преступление и наказание» – это же чистой воды терапия игрока-неудачника, у которого горел дедлайн перед издателем Стелловским, а в карманах свистел баден-баденский ветер! Вы же всю жизнь были классическим абьюзером и созависимым токсиком, транслирующим свои личные девиации на несчастного русского читателя.

Достоевский поперхнулся воздухом и подался вперед.

– Сударыня, да как вы...

– Молчать, Федя, когда филолог говорит! – Александра Сергеевна властно подняла крошечную ладонь, и в ее жесте было столько непреклонной силы, что писатель послушно закрыл рот. – Давайте препарируем вашего Родиона Романовича. Учебники пишут: «социальный протест, нищета довела». Seriously? Парень – обыкновенный инфантильный бездельник. Ему лень дойти до университета, лень найти работу, перевод сделать. Он лежит на диване в своей каморке, похожей на шкаф – кстати, моя хрущевка не сильно больше, но я, блин, не иду с топором на директора школы! – и холит свое раздутое эго. Его матушка и сестра Дуня последние копейки отдают, Дуня готова лечь под старого мерзавца Свидригайлова, лишь бы сыночка учился. А сыночка что? Сыночка придумывает сумасшедшую нацистскую теорию, чтобы оправдать собственную импотенцию!

Она остановилась прямо перед кушеткой, став похожей на разгневанного гнома-прокурора.

– И ладно бы убил ради денег. Так он же эти несчастные побрякушки под камень зарыл и даже не посмотрел, сколько там! Это не идеология, это тяжелый психоз на почве хронического недоедания и безделья. А вы из этого делаете манифест русской души. Или возьмем вашу Сонечку Мармеладову. О, этот вечный мужской миф о «святой проститутке»! Как это удобно для ничтожеств: женщина должна торговать телом, терпеть побои, желтый билет получить, но оставаться чистой душой, чтобы в финале прийти, упасть на колени перед убийцей и духовно его воскресить. Да Соня – это классический пример стокгольмского синдрома и стигматизированного саморазрушения. Ей лечиться надо у психиатра, а не Раскольникова на каторге нянчить!

– Но катарсис... Евангелие... – пробормотал ошарашенный Достоевский, судорожно держа кадык.

– Какой катарсис?! – Александра Сергеевна ядовито усмехнулась. – Вы финал-то свой помните? «Но тут уж начинается новая история...» Ага, началась. Знаем мы эти истории. Раскольников на каторге даже не раскаялся, он просто устал злиться на весь мир. Он Сонечку принял только потому, что больше некому было ему портянки стирать и передачи носить. Вы, Федор Михайлович, всю жизнь мазохистически смаковали человеческую гнильцу. Вам казалось, что если хомо сапиенс как следует не искупать в дерьме, то и Бога он не увидит. Ваш Идиот Мышкин – святой? Да он же социальный инвалид, который своим «всепрощением» сломал жизнь Настасьи Филипповны и Аглае! Он не спасает, он парализует людей своей беспомощностью.

Она подошла к окну, за которым петербургский туман сгущался в привычные сумерки N-ска. На мгновение ее маленькая фигура показалась невероятно одинокой.

– Вы гений, Федя, тут не поспоришь. Стиль у вас, конечно, рваный, синтаксис как у душевнобольного – сказывалась спешка, – но плотность сумасшествия на квадратный сантиметр текста феноменальная. Только не надо выдавать вашу личную психопатологию, долги и страсть к садомазохизму за «особый путь русского народа». Русский народ просто хочет нормально жить, работать и чтобы его не расковыривали изнутри ржавой вилкой каждые двести страниц.

Александра Сергеевна моргнула.

Петербург исчез. Перед ней снова была кухонная клеенка с ромашками. Стаканчик из под портвейна был пуст. В углу тихо тикал советский будильник. На часах было три часа ночи.

Она тяжело вздохнула, аккуратно спрятала пустую бутылку в мусорное ведро под раковиной и поправила сползшую шаль. Назавтра одиннадцатый «Г» будет уныло бубнить про «луч света в темном царстве» (хотя это из другой оперы, они вечно путают) и «гуманизм Достоевского».

Она выйдет к доске, посмотрит на них сверху вниз – вернее, снизу вверх, но ментально раздавив каждого до состояния инфузории – и скажет: «Итак, дети, на прошлом уроке мы выяснили, как один закомплексованный питерский бездельник зарезал двух женщин, чтобы доказать себе, что он не тварь дрожащая. А сегодня запишем...».

И они запишут. Куда они денутся.

«Драма на охоте», Антон Чехов

Трава в городском селекционном питомнике «Зеленстрой» росла густая, сочная, упрямая, пахнувшая прелью и недавним июньским ливнем. Здесь, среди бесконечных рядов саженцев канадского клена и облепихи, тишина стояла почти кладбищенская, нарушаемая лишь глухим стуком лопаты.

Трудовик Виталий Петрович Писториус, мужчина могучего сложения и тусклого взгляда, копал яму под дренаж. На краю свежего земляного бруствера, аккуратно подстелив номер «Литературной газеты», восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Маленькие лакированные туфельки двадцать четвертого размера, едва заметные под подолом тяжелой твидовой юбки, забавно торчали вперед. Со стороны могло показаться, будто кто-то забыл на куче перегноя старинную фарфоровую куклу, но благоговейный ужас, который Виталий Петрович испытывал перед этой девяностосантиметровой женщиной, безошибочно выдавал в ней Народного учителя Российской Федерации. На ее крошечных коленях покоился томик Чехова, раскрытый на повести «Драма на охоте».

– Вы только вслушайтесь, Виталий Петрович, в эту хрустальную, поистине акварельную тоску раннего Антоши Чехонте, – вымолвила Александра Сергеевна. Голос ее, густой и глубокий, словно принадлежавший невидимому трагику огромного роста, плыл над саженцами. – Какая невыразимая поэтика увядания дворянских гнезд! Какое упоительное, целомудренное кружение чувств в этих тенистых аллеях! Юная Оленька, эта «девушка в красном», скользит среди вековых дубов, словно мимолетное видение, словно чистый дух природы, запертый в тесных рамках провинциального быта. А граф, а Камышев? Это же симфония духовного надлома, реквием по уходящей эпохе, где каждое слово дышит предчувствием неминуемой катастрофы и святой, омытой слезами скорби...

Трудовик Писториус с размаху вогнал штык лопаты в глину и с чавканьем перерубил жирного, лоснящегося дождевого червя. Червь задержался в предсмертной агонии, пачкаясь в слизи.

Александра Сергеевна безглаголиво скосила глаза на авторов подпольного гумуса, и благородная бледность ее лица мгновенно сменилась сухим, желчным румянцем.

– Короче, Петрович, – ее голос упал на две октавы и приобрел пронзительную, как скрежет ржавой пилы, тональность. – Чехов написал гениальное пособие по криминальной психиатрии, а наши методисты сколько лет заставляют детей сопли размазывать про «загадочную женскую душу». Давай снимем позолоту с этого борделя. Оленька Скворцова – это не «девушка в красном», это малолетняя, расчетливая шкура из лесничества, у которой в башке вместо девичьих грез калькулятор. Девочка сидит в глуши, видит старого, пердящего Урбенина с домом и графа-алкоголика с деньгами и титулом, и понимает: ее единственный ликвидный капитал – это молодое мясо. Она выходит замуж за старика ради статуса, в день свадьбы прыгает в постель к графу ради перспектив, а спит в итоге с Камышевым просто для души и разнообразия. Это не драма, Петрович, это эффективный нетворкинг в условиях уездного кризиса.

Виталий Петрович Писториус застыл, опершись на лопату, и шумно выдохнул перегаром.

– А этот ваш Камышев? Судебный следователь, между прочим. Элита юриспруденции, – Александра Сергеевна наконец спрыгнула с бруствера. Ее двадцатипятикилограммовое тело приземлилось на сырую землю бесшумно, но взгляд снизу вверх обладал такой чудовищной массой, что трудовик невольно втянул голову в плечи. – Типичный психопат-нарцисс с комплексом бога и нереализованным либидо. Он ведь трахает все, что шевелится, от скуки, а когда Оленька, эта мелкая хищница, заявляет ему, что продается более состоятельному графу, у Камышева срывает резьбу. Как так? Его, царя уездного полусвета, променяли на дегенерата с титулом? И что делает этот светоч правосудия? Он режет ее на охоте, как свинью, абсолютно

хладнокровно. А потом – следите за руками, Петрович, тут начинается истинный Чехов – подставляет несчастного, слабоумного от горя вдовца Урбенина. И старик отправляется на каторгу гнить за чужой грех.

Она сделала два шага, ее крошечная фигура казалась карикатурной среди гигантских лопухов, но в чеканном развороте плеч сквозила царственная деспотичность.

– Но самый цинизм в другом. Камышев не просто выходит сухим из воды. Этот нарцисс приносит рукопись со своим собственным преступлением в редакцию – печатайте, мол, мемуары, оцените слог! Понимаете, Петрович? Чувак совершил идеальное убийство, упек несчастного куколда Урбенина на каторгу искупать чужую вину, а потом сидит перед интеллигентным Редактором и три месяца водит его за нос, теща свое эго. И ведь этот журнальный червь понимает, кто убийца, только на последних страницах! И что он делает? Думаете, бежит в полицию? Объявляет план «Перехват»? Черта с два! Редактор просто укоризненно качает головой, выслушивает циничное признание Камышева и отпускает маньяка на все четыре стороны с миром. А потом преспокойно публикует этот тру-крайм бестселлер в журнале, потому что тиражи сами себя не поднимут, а чужая кровь отлично конвертируется в читательский интерес. Вот вам и вся русская интеллигенция, Петрович. Любуйтесь.

Александра Сергеевна резко захлопнула томик, издав сухой, как выстрел, хлопок, и посмотрела на Писториуса так, словно он лично только что зарезал Оленьку Скворцову.

– Так что копайте глубже, Виталий Петрович. В человеческой душе дерьма гораздо больше, чем в вашей дренажной яме.

«Дубровский», А. Пушкин

Небо над N-ском волочилось низко, точно серый, пропитанный табачным дымом пиджак мелкого чиновника. Дождь, занудный и бесконечный, как латынь, заливал облупившийся фасад средней школы № 36. В кабинете русского языка и литературы, густо пахнущем хлоркой и мокрыми шерстяными рейтузами шестого «Г», царила та священная, замершая тишина, какая бывает лишь перед лицом истинного величия.

На массивном дубовом столе, сиротливо возвышаясь над подставками для канцелярских приборов, покоилась бархатная подушечка. На ней, чинно скрестив крошечные ножки в лаковых туфельках двадцать четвертого размера, сидела Александра Сергеевна Пушкина.

Девяносто сантиметров живого веса, увенчанные седой, безупречно уложенной халой, заставляли тридцать юных оболтусов дышать через раз. Народный учитель РФ обладала взглядом, который заставлял кадыки сопляков судорожно дергаться, а директора – превентивно пить корвалол. В ее крошечных ладонях, обтянутых кружевными митенками, томила книга тезки.

– Посмотрите в окно, юноши и бледные девы, – ее голос, неожиданно густой, виолончельный, полетел над партами, обволакивая класс истомой девятнадцатого столетия. – Какая осень! Именно в такую пору гений Александра Сергеевича зажигал неугасимый светоч романтизма. Сегодня мы открываем «Дубровского». Какая драма! Какая трагедия дворянских гнезд! Вспомните эту акварельную нежность тайных встреч у старой беседки. Покровское, Кистеневка... Две чистые, израненные души – Владимир и Марья Кирилловна – тянутся друг к другу сквозь тернии сословных предрассудков, сквозь мглу отцовского деспотизма. Это гимн верности, чести и тому великому, жертвенному чувству, которое возносит человека над брэнной землей...

В этот момент на задней парте Юра Акашкин, дегенерат с замашками мелкого щипача, громко и сочно зевнул, после чего сразу же высморкался в рукав.

Звук разорвал кружевную ткань девятнадцатого века. Александра Сергеевна замолчала. Она медленно повернула голову. Ее крошечное лицо, секунду назад сиявшее филологическим экстазом, затвердело, превратившись в маску старого циничного фавна.

Учительница спрыгнула с кафедры. Звук удара лаковых туфелек о паркет прозвучал как выстрел. Она подошла к краю подиума, оказавшись вровень с сидящим на первой парте отличником Мишей Обезжировым, и оперлась руками на спинку стула. Масштаб ее личности в одно мгновение заполнил класс так, что стены, казалось, раздвинулись.

– Акашкин, – тихо, но отчетливо произнесла она, и класс замер. – Я вижу, твой межоконный мозг не способен переварить элегию. Что ж, давай снизим регистр до уровня твоей подворотни. Снимем эти розовые сопли со школьной программы и посмотрим, что мой великий тезка написал на самом деле. А написал он, дорогие мои дебилы, историю о том, как два инфантильных мажора и один старый психопат устроили кровавый цирк из-за взаимного скудоумия.

Она прошлась по краю подиума, заложив руки за спину. Ее физический рост сейчас не имел значения – сверху вниз на класс смотрел безжалостный патологоанатом.

– Начнем с Троекурова и старшего Дубровского. Нам их подают как трагедию дружбы. Чушь! Это история двух престарелых самодуров, которым нечем заняться в своих глухих деревнях. Один – богатый альфа-самец с повадками садиста, держащий псарню лучше, чем собственных крестьян. Второй – мелкопоместный, гордый до истерики дворянин. И из-за чего весь сыр-бор? Из-за шутки холопа на псарне! «Твоим людям у Кириллыча живется хуже, чем моим собакам». И что делает Дубровский-старший? Включает обиженную девочку, уезжает и требует извинений. Троекуров, привыкший, что ему все лижут сапоги, звереет. Два старых

хрыча из-за ущемленного эго ломают жизни сотням людей. Суд, подкуп, отжатая усадьба. Дубровский-отец от злости и немощи ложится и помирает. Классический пример психосоматики на почве уязвленной гордыни.

Она остановилась, в упор глядя на отличника Обезжирова, который судорожно записывал каждое слово.

– Теперь перейдем к нашему «благородному разбойнику». Кстати, когда я слышу словосочетание «благородный разбойник», я хватаюсь за указку. Итак, Владимир Дубровский. Корнет, гвардеец, столичный прожигатель жизни, который привык, что папа присылает деньги из деревни. Папа умер, лавочка закрылась. Что делает этот «герой»? Возглавляет банду крепостных мужиков. В учебнике написано: «он защищал их от произвола». В реальности – парень просто остался без средств к существованию и организовал ОПГ. Но ладно бы организовал! Он же абсолютно безответственный вожак. Зачем они сжигают Кистеневку? Дубровский кричит: «Не хочу, чтобы дом отца достался врагу!» Красиво? Но в огне заживо сгорают приказные чиновники. Мужик Архип их запер. И не надо мне рассказывать, что он не хотел их смерти! Заварил кашу с поджогом – отвечай за трупы. Оставил банду пьяных мужиков один на один с чиновниками и ушел. Это как минимум соучастие в поджоге, повлекшем смерть двух и более лиц! А потом этот «робин гуд» бросает своих мужиков в лесу под пулями регулярных войск, а сам сваливает за границу по поддельному паспорту. Гениально. Заварил кашу, подставил крестьян под каторгу и уехал пить кофе в Париж.

Александра Сергеевна горько усмехнулась, поправив кружевную манжету.

– Ну и вишенка на этом торте ментального убожества – Марья Кирилловна. Ах, трепетная дева, читающая французские романы! Жертва насилия! Слушайте внимательно деталь текста, которую вы прохлопали своими немытыми ушами. Когда Дубровский, прикинувшись учителем Дефоржем, признается ей, что он – разбойник, какая у нее реакция? Думаете, она побежала сдавать его полиции? Как бы не так! Она разрыдалась, испугалась, но в итоге благополучно проглотила эту информацию и продолжила с ним общаться. Ей в глубине души нужен был этот экстрим. Она соглашается на свидания с уголовником. Но вот появляется старый князь Верейский. Богатый, изысканный, с английским садом. Да, ему полтинник, да, он подагрик. Маша плачет, пишет письма: «Не хочу замуж». Дубровский дает ей кольцо: «Положи в дупло, если что». И вот – кульминация. Свадьба состоялась. Молодые едут в карете. Нападает Дубровский, весь в романтическом дыму, кричит: «Вы свободны!» И что отвечает наша Маша? «Поздно, я дала клятву».

Пушкина сделала паузу, обедая класс презрительным взглядом.

– Вы думаете, это про верность долгу? Не смешите мои седины. Это чистая, рафинированная женская прагматика, помноженная на трусость. Одно дело – тайно вздохнуть по разбойнику в лесу, читая Руссо. И совсем другое – реально уйти жить в землянку, спать на лапнике, стирать портянки немытым мужикам и бегать от жандармов. А тут перед ней – законный муж, богатейший князь, у которого поместье, слуги, фарфор и скорая перспектива умереть от подагры, оставив ей колоссальное наследство. Марья Кирилловна мгновенно просчитала риски. Зачем ей нищий Вовочка с топором под подушкой, если можно стать богатой вдовой в шелках? Она просто технично слила любовника, прикрывшись церковным таинством. А Пушкин – гений. Он не романтизировал эту шваль, он показал вам, как романтические иллюзии разбиваются о банальное человеческое шкурничество и страх остаться без комфорта.

Александра Сергеевна легко, со сноровкой гимнастки, запрыгнула обратно на дубовый стол, уселась на бархатную подушечку и расправила юбку. Лицо ее снова приобрело выражение благостной филологической неги.

– Итак, дома вы пишете сочинение на тему «Образ благородного разбойника в романе». И не дай бог кому-то из вас, кретинов, написать то, что я сейчас сказала. Потому что для того, чтобы нарушать правила и ломать каноны, нужно иметь интеллект масштаба Пушкина, а

вашему коллективному разуму, едва освоившему прямохождение, положено строго следовать методичке для умственно отсталых. В тетрадях у вас должен быть образцовый, унылый советский гуманизм. Свободны.

«Душечка», А. Чехов

Тихий провинциальный вечер опускался на город Н., укутывая его сонные улочки в саван из тополиного пуха и запаха подгоревшего лука. Солнце угасало за горизонтом, окрашивая облупившийся фасад чебуречной «У Ашота» в багровые, по-настоящему левитановские тона. В глубине этого гастрономического вертепа, за липким пластиковым столом, сидела Александра Сергеевна Пушкина.

Народный учитель Российской Федерации занимала ровно половину стандартного стула. Ее крошечные ножки в лаковых туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до пола, мерно покачивались в воздухе. Девяносто сантиметров абсолютного филологического величия и двадцать пять килограммов концентрированного презрения к человечеству были облачены в строгое платье с безукоризненным жабо.

Напротив нее, тяжело дыша перегаром и несвежим парфюмом, восседал Колян – местный авторитет районного масштаба и по совместительству отец Овнокрылова из 10-го «Г», которого тоже звали Коляном. Батя пришел «перетереть за оценки сына», но Александра Сергеевна даже не взглянула на его золотую цепь.

Она бережно держала в крошечных, как у фарфоровой куклы, пальцах потрепанный томик Антона Павловича Чехова. Глаза ее, огромные и блестящие, лучились неземным светом.

– Вы только вслушайтесь в эту божественную, хрустальную простоту чеховского слога, Николай, – пропела Александра Сергеевна, и ее глубокий, бархатный альт заставил Коляна, икнув, затихнуть. – «Душечка»... Какая нежность, какая святая, первозданная чистота женской души! Антон Павлович соткал этот образ из тончайших нитей южнорусского воздуха, вздохов и безоговорочной, библейской любви. Оленька Племянникова не просто любит – она растворяется в ближнем своем. Она дышит чужими мыслями, она транслирует миру чистый свет, лишенный эгоизма. Это же гимн великой русской бабе, способной обогреть сиротливую мужскую душу в этом ледяном мире... Это абсолютное, жертвенное искусство, перед которым хочется встать на колени!

Овнокрылов-старший, растроганный до глубины души столь высоким слогом, шмыгнул носом и потянулся к карману за платком, но случайно задел локтем пластиковый стаканчик. Пиво с глухим шлепком вылилось прямо на лаковую туфельку учительницы.

Свет в глазах Александры Сергеевны мгновенно погас, уступив место ледящему душу пламени Саурана. Она медленно перевела взгляд с мокрой туфли на багровое лицо Коляна. Весь пафос девятнадцатого века испарился, уступив место удушающему смогу.

– Слышь, ты, мамонт недоэволюционировавший, – тихо, но отчетливо произнесла Пушкина, и Овнокрылов инстинктивно вжался в спинку стула. – Руки свои граблевидные убрал и слуховые аппараты настроил. Твой выродок Колька на уроке заявил, что «Душечка» – это идеальная жена, потому что «не отсвечивает». Так вот, Овнокрылов, твой сын – debil, весь в тебя, и классику вы оба воспринимаете через призму спинного мозга.

Она с треском захлопнула книгу и припечатала ее кулачком к столу.

– Какая, к чертям, жертвенность? Какая святая любовь? Чехов написал страшнейший клинический разбор абсолютной, эталонной паразитки! Оленька Племянникова – это не ангел, это ментальный клоп. Социальный клещ высшего разряда. У этой бабы внутри – звенящая, вакуумная пустота. Полное отсутствие личности, ампутированное «Я». Ей вообще до фонаря, кого любить – антрепренера Кукина, торговца лесом Пустовалова или ветеринара Смирнина. Ей физиологически необходимо к кому-то присосаться, чтобы заполнить свой внутренний чернобыльский кратер чужими мыслями.

Александра Сергеевна поправила жабо, ее крошечный рост сейчас казался иллюзией – она ментально возвышалась над Коляном, словно монумент Родины-матери.

– Ты текст-то читал своими порсячими глазками? Вспомни: выходит она за Кукина – и все, «театр – это самое замечательное». Кукиндохнет от холеры, она тут же пересаживается на лесоторговца. И бац – театр уже «чепуха и пошлость», а главное в мире – цены на балки, горбыль и кубометры дров. У нее нет своего мнения! Она как флешка: в какой разъем вставили, ту инфу она и крутит. Это не любовь, Николай. Это тяжелое психиатрическое расстройство, созависимость в терминальной стадии. Она высасывает мужиков досуха. Заметь, все ее мужики либо чахнут идохнут, либо сбегают на край света, как этот несчастный ветеринар Смирнин, который просто мечтал, чтобы она заткнулась и перестала транслировать его же фразы про чуму на рогатом скоте.

Пушкина горько усмехнулась, окинув взглядом замершую чебуречную.

– А финал? Финал – это же чистый хоррор, Стивен Кинг плачет в углу. Ветеринар возвращается с подростком сыном Сашенькой. И эта престарелая вампириша находит новую жертву. Младую плоть! Она присасывается к десятилетнему пацану. Она ходит за ним тенью, она зубрит его уроки, она думает его детскими мыслями про то, что «остров Борнео – это тридцать тысяч квадратных миль». Она душит ребенка своей суррогатной материнской любовью так, что мальчик среди ночи кричит во сне: «Я тебе дам! Пошел вон!» Детская психика интуитивно чувствует, что его жрет чудовище! Чехов глумился над ней, он выставил на обозрение абсолютное ничтожество, завернутое в розовые сопли. А наша школьная программа сделала из нее идеал женственности для десятиклассниц, у которых и так вместо мозгов соцсети и сигареты за гаражами.

Александра Сергеевна замолчала. Она достала из крошечной сумочки влажную салфетку, аккуратно вытерла туфельку и поднялась на стул, став почти вровень с сидящим Овнокрыловым. Ее взгляд колот, как медицинский ланцет.

– Короче, Коля. Твой сынуля получит свою тройку только в том случае, если напишет сочинение о том, что Душечка – это первый в русской литературе зомби-абьюзер. С цитатами и аргументами. Свободен. И пиво свое сивушное с пола подотри, а то я организую твоему отпрыску такой допуск к ЕГЭ, что он у тебя вместо армии сразу в монастырь уйдет.

Она спрыгнула со стула, легко поймав равновесие. Затем, гордо подняв голову, направилась к выходу. Овнокрылов-старший сидел неподвижно, боясь даже вздохнуть вслед этой страшной, великой и совершенно беспощадной женщине.

«Дым», И. Тургенев

Майское солнце плавилось над провинциальным городом, заливая предвечерним янтарным светом облупившийся актовый зал средней школы № 36. Сквозь распахнутые окна, вместе с тополиными сережками и гулом проезжающих КамАЗов, лился густой, паточный аромат цветущей сирени. Воздух, казалось, замер, отягощенный истомой поздней весны и предчувствием близкой свободы.

На сцене, за колоссальной трибуной из лакированного прессованного дерева, из-за которой виднелась лишь седая макушка с безупречным пучком, на табурете стояла Александра Сергеевна Пушкина. Десятиклассники, согнанные на факультатив, пребывали в состоянии анабиоза: девицы с надутыми губами лениво скроллили ленты в телефонах, а кучка местных хулиганов на заднем ряду тихо делилась планами на вечернее пиво.

Народный учитель РФ, чьи девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов веса в запекшемся от времени теле казались нелепой шуткой природы, заговорила. Ее голос, глубокий, бархатный, ставивший на колени столичные филологические симпозиумы, поплыл над залом, подражая тягучей, кружевной прозе девятнадцатого столетия.

– О, этот дивный, призрачный «Дым» Ивана Сергеевича... – выдохнула она, и в голосе ее послышался трепет истинного паломника от искусства. – Какая акварельная нежность, какая филигранная точность в изображении переломной эпохи дворянства! Тургенев, этот титан русской мысли, соткал полотно о трагедии человеческого духа среди блеска и суеты Баден-Бадена. Вглядитесь в этот образ: Литвинов, чистая, созидательная душа, стремящаяся к труду на благо отчизны, и Ирина – роковая, ослепительная муза, ставшая заложницей высшего света. Это же плач о несбывшейся России, где истинная любовь и верность разбиваются о призрачные иллюзии бытия, превращаясь в невесомый, тающий сизый дым...

На заднем ряду Борька Дермидонтов по кличке Кувалда, туповатый детина с замашками автомеханика, громко и смачно зевнул, хрустнув челюстью на весь зал. Сидевшая рядом Наташка по фамилии Развраточка, местная королева дискотек в леопардовых лосинах, приснула в кулак, прошептав: «Сверчок щас сама уснет от своего дыма».

Александра Сергеевна замолчала. Прозвище Сверчок приклеилось к ней еще тридцать лет назад. Пространство между ее макушкой и трибуной словно наэлектризовалось. Обладательница колоссального филологического ума плавно, слезла с табурета и с царственным достоинством вышла из-за деревянной махины. На ее крошечных ножках были ортопедические туфельки двадцать четвертого размера, но шаг был твердым, как у Командора. Ментальный масштаб этой женщины в секунду заполнил зал, придавив потолок к полу. Циничные глаза за стеклами роговых очков сверкнули хирургической сталью.

Стиль девятнадцатого века сдох, не приходя в сознание.

– Дермидонтов, закрой пасть, у тебя там муха дачу строит, – ледяным шепотом произнесла Пушкина. – И вы, гидроцефалы с задних парт, выньте пальцы из носа. Развраточка, убавь громкость своего свиного тона, слушать сюда. Сейчас я вам, дегенератам, на пальцах объясню, про какой «дым» накатал Тургенев, раз уж в ваших методичках написана политкорректная чушь для умственно отсталых.

Ее крошечная фигура казалась концентрированным сгустком чистой, неразбавленной мизантропии.

– Вы думаете, это роман о великой любви и судьбах родины? Хрен там плавал. Тургенев написал гениальное руководство по препарированию человеческого эгоизма, тупости и инфантилизма. Давайте снимем позолоту с ваших «возвышенных» героев. Кто такой Григорий Литвинов? Нам транслируют, что он «новый человек», технарь, хозяйственник. А на деле – типичный латентный куколд и маменькин сынок без зачатков хребта. Чувак приехал в Баден-Баден

ждать невесту Таню. Таня – святая простота, пресная, как больничная овсянка на воде. И тут на горизонте появляется его бывшая – Ирина. 10 лет назад она его кинула ради престижного брака и сытой жизни в Петербурге, потому что трахаться в шалаше ей не улыбалось. И что делает наш передовой агроном? Его берут на понт, как первоклашку.

Десятиклассники, сообразившие, что пахнет жареным, побросали телефоны. Развратка даже рот приоткрыла.

– Ирина – это вообще шедевр психологического уродства, – продолжала Александра Сергеевна, медленно, по-хозяйски перемещаясь по сцене. – Пресыщенная нимфоманка в теле светской львицы. Ей скучно. Муж-генерал – картонный карьерист, фрики из высшего общества ее бесят. И тут она видит Литвинова. Знаете, зачем он ей нужен? Не из-за любви. Ей нужен ручной раб, об которого можно вытереть ноги, чтобы снова почувствовать себя живой. Она устраивает ему классический абьюзивный пикап: то приближает, то отталкивает, плачет в плечо, шепчет: «Я твоя», а потом заявляет: «Ой, нет, бросить мужа и богатство ради твоей деревни я не могу, но ты живи в Бадене на правах моей тайной собачки». Это же чистый, незамутненный нарциссизм. И ладно она – сука со стажем. Но Литвинов! Филологический гений Тургенева в том, что он показал, как мужик за три дня добровольно превращается в тряпку для мытья полов. Он предает несчастную Таню, ползает на коленях, теряет остатки мужского достоинства.

Пушкина остановилась по центру сцены, ее взгляд пригвоздил Кувалду к стулу.

– А теперь финал, который вы, двоечники, в кратком содержании читали. Помните фразу: «Дым, дым, все дым»? В учебниках пишут: это он о пореформенной России, о спорах западников и славянофилов. Какая чушь! Это Литвинов едет в поезде и понимает, какой он феерический идиот. Вся его жизнь, его «принципы», его гордость – все оказалось пшиком из-за того, что бывшая поманила пальцем. И самое страшное, деточки, знаете что? Хеппи-энд. Он возвращается к Тане через несколько лет. Ползает в ногах, и эта святая дура его прощает. Тургенев показывает страшную вещь: люди не меняются. Танюша всю жизнь будет жить с душевно покалеченным мужиком, который мысленно все равно исходит слюной на образ Ирины под баденской темной вуалью. А сам Литвинов будет ковырять навоз в своем имении, изображая хозяйственника, хотя внутри он мертв и пуст.

Александра Сергеевна поправила безупречный воротничок блузки. Зал молчал. Даже мухи, казалось, перестали жужжать. Цинизм лилипутки-интеллектуалки вскрыл классику так, что подросткам впервые в жизни стало по-настоящему жутко от прочитанного. Они увидели в девятнадцатом веке себя – со своими глупыми привязанностями, изменами и фальшью.

– Текст Тургенева – это рентгеновский снимок, на котором отражается вся ваша будущая никчемная личная жизнь, если вы не включите мозги, – подытожила Александра Сергеевна, возвращаясь к академическому, усыпляюще-гладкому тону. – Искусство безжалостно, мои дорогие. На этом наш экскурс в анатомию дворянского эгоизма окончен. Домашнее задание: написать эссе на тему «Почему Литвинов – тряпка». Кувалда, для тебя спецзадание – без орфографических ошибок, иначе твой аттестат превратится в тот самый дым. Свободны.

Она повернулась и маленькими, но невероятно гордыми шагами скрылась за кулисами, оставив за собой шлейф абсолютного, подавляющего превосходства духа над брэнной и глупой человеческой плотью.

«Дюймовочка», Ханс Кристиан Андерсен

Закат над городом N догорал с той ленивой, багрово-свинцовой истомой, какая случается в провинции лишь в исходе душного июня. На безлюдной лодочной станции, пахнущей речным илом, мазутом и гнилой чешуей, было тихо. Лишь волна мерно лизала борт старого дощатого ялика, в котором, обложившись томами из синего леваковского издания, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Она казалась деталью какого-то диковинного, забытого механизма. Крошечные туфельки двадцать четвертого размера едва доставали до середины настила. Ее тельце – девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической ярости, упакованные в безупречный, отутюженный кримпленовый жакет – тонуло в огромном плетеном кресле, притащенном сюда из школы. Народный учитель Российской Федерации, держа на коленях раскрытую книгу, смотрела на воду глазами мудрыми и страшными, как у столетней черепахи.

– Вы только вслушайтесь в эту хрустальную, поистине поднебесную полифонию смыслов, голубчик, – произнесла она, обращаясь к сидевшему на перевернутом ведре сторожу по фамилии Хувных, он же просто Михалыч. Голос ее, на удивление густой, грудной и бархатистый, плыл над рекой. – Андерсен – это ведь не сказочник. Это великий мистик северного неоромантизма! Какая акварельная нежность, какая сакральная чистота юной души, заброшенной в грубый, хтонический мир материи. Эта крошка, рожденная из чашечки цветка, – чистый дух, абсолютный фавор божественного света, вынужденный томиться в узах земного существования. Какое целомудрие, какой трагический эскапизм перед лицом плотоядной реальности! Каждое слово – как удар серебряного колокольчика в предрассветном тумане...

В этот момент Хувных, моривший червей в консервной банке, громко, с оттяжкой высморкался в реку, зажав пальцем одну ноздрю. Липкий, сочный звук разорвал вечернюю тишину.

Глаза Александры Сергеевны мгновенно сузились в две ледяные щели. Бархат из голоса испарился, уступив место хриплому, звенящему металлу привокзального мегафона.

– Ну вот зачем вы это сделали, милейший? Впрочем, метафора идеальная. Примерно так же, с размаху и в душу, испражняется на нас датский классик, а мы сто пятьдесят лет умиляемся. Тьфу. Вы вообще эту дрянь, «Дюймовочку», в зрелом возрасте перечитывали? Это же не сказка. Это клиническая история латентной содержанки с тяжелейшим расстройством привязанности и полным отсутствием надвидовых эмпатических связей. Хрестоматия бытового паразитизма.

Она с треском захлопнула книгу, едва не переломив корешок своими крошечными, похожими на птичьи лапки пальцами, на одном из которых тускло блестел фамильный перстень.

– Давайте разберем анамнез этой вашей «чистой души». Откуда она взялась? Бездетная баба пошла к колдунье, купила ячменное зерно. То есть перед нами классический продукт суррогатного материнства, выращенный в чашечке бутафорского тюльпана. Никакого воспитания, никакой социализации. Девка росла в лакированной скорлупе под вечным кайфом от запаха фиалок. Логично, что работать ее не учили. И вот ее крадет жаба. Что делает наше «божественное создание»? Включает манипулятивную истерику. Приплывают рыбы – им становится жалко дурочку, они перегрызают стебель. То есть чужие биологические виды совершают ради нее экотерроризм, рискуя жизнью, а она просто сидит на кувшинке и хлопает ресницами. Хоть бы «спасибо» булькнула. Нет, зачем? Весь мир – декорация для ее величества.

Александра Сергеевна поправила сползающие на кончик носа очки в толстой роговой оправе. Ее маленький рост сейчас совершенно не замечался; казалось, фигура учительницы раздулась до размеров грозовой тучи.

– Дальше – больше. Ее бросает майский жук. Почему бросает? Потому что его консилиум насекомых признал ее уродкой – мол, усов нет вообще, а талия, фи, какая тонкая, точь-точь как у человека! И эта нимфа впадает в глубочайшую депрессию на почве уязвленного нарциссизма. Всю зиму она бесцельно шляется по лесу, беззастенчиво объедая цветочные чашечки, и наконец приползает к полевой мыши. Мышь – нормальная, крепкая баба-труженица, хозяйка склада, синий воротничок. Она пускает эту бродяжку погреться, кормит ее зерном. Что требуется от Дюймовочки взамен? Убирать комнаты и сказки рассказывать. Элементарный бартер, социальный контракт. Но для нашей белоручки даже веник взять – это экзистенциальная драма.

Она сделала паузу, вытащила из кармана жакета крошечный платок, брезгливо вытерла пальцы и продолжила, чеканя каждое слово:

– И тут появляется крот. Ах, какой злодей в советском мультфильме! А если по тексту? Крот – статский советник, интеллигент, носит бархатную шубу, имеет солидный капитал и колоссальную библиотеку. Да, слепой. Да, душный технократ. Но он предлагает официальный брак, полное обеспечение и статус в обществе. И что делает эта дрянь? Она находит в коридоре полудохлую ласточку. Начинается апофеоз лицемерия. Она эту птицу всю зиму втайне от хозяев дома выхаживает. То есть занимается тайным укрывательством нелегалов на чужой частной собственности! Крот эту галерею прорыл, мышь ее содержала, а эта дрянь устроила там подпольный госпиталь!

Александра Сергеевна резко подалась вперед, отчего плетеное кресло жалобно скрипнуло под ее двадцатипятикилограммовым весом.

– Ласточка оживает, Михалыч. Наступает день свадьбы. Крот уже оплатил банкет, мышь сшила фату. И в самый ответственный момент невеста прыгает на спину пернатой контрабандистке и сваливает за границу без объяснения причин. Это же чистой воды кидалово на доверии! В юридической практике это называется мошенничеством в особо крупном размере. Куда они летят? На юг. В края, где тепло, делать ничего не надо и можно снова вести праздный образ жизни. И там она встречает короля эльфов. Такого же инфантильного бездельника в золотой короне. Он с ходу дарит ей крылья и новое имя – Майя. Знаете, почему Майя? Потому что старое имя напоминало ей о неметрической системе и трудовом процессе, а эльфы от работы падают в обморок. Они нашли друг друга – два паразита на теле цветущей биосферы. Андерсен вывел формулу идеальной содержанки: если ты достаточно миниатюрна, вовремя плачешь и умеешь садиться на шею пролетариату, то в финале тебе обязательно выдадут крылья и принца на гособеспечении.

Александра Сергеевна замолчала, тяжело дыша. На лодочную станцию опустились сумерки. Сторож Хувных сидел, боясь пошевелиться, намертво зажав в кулаке несчастного червя.

Маленькая женщина аккуратно сложила руки на коленях, ее лицо снова приобрело выражение благодной, предпенсионной умиротворенности. Она посмотрела на затихшую реку и тихо, с глубоким вздохом, произнесла:

– Какая, однако, великая, очищающая душу сила заключена в настоящей литературе... Михалыч, у вас лодочный мотор исправен? Довезите меня до моста, а то мои 35 дюймов местная шпана за бродячую собаку примет и камнями закидает.

«Дядя Ваня», А. Чехов

Чуден провинциальный город N в начале туманного ноября, когда свинцовые тучи, точно выстиранные в грязной луже простыни, тяжело висают над облупленными фасадами старых хрущевок, а редкие высокие тополя, эти немые свидетели ушедшего величия, роняют последние черные листья на мокрый разбитый асфальт.

В такие часы надрывной осенней меланхолии душа человеческая, изнывая от обыденности существования, невольно ищет спасения в тихой обители духа – в кабинете русского языка и литературы, где пахнет сушеной лавандой, старой бумагой и немножко коньяком.

Александра Сергеевна Пушкина восседала на трех подложенных под нее томах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, без которых ее подбородок едва достигал края массивного дубового стола. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного изящества. Природа, столь по-издевательски урезавшая ее физическую оболочку до двадцати пяти килограммов, словно в отместку набила эту крошечную черепную коробку титаническим, звенящим филологическим гением.

Перед ней, уныло подперев прыщавые щеки, сидел десятый «Г». В частности – Ленка Блудова, главная гроза школьных туалетов, от которой за версту несло дешевой вейп-жижей с ароматом химозной земляники. Компанию ей составлял верный прихвостень Вася Спражняк.

Александра Сергеевна подняла маленькую, как у фарфоровой куклы, руку. Значок Народного учителя Российской Федерации на ее лацкане скромно блеснул.

– Антон Павлович Чехов, – произнесла она, и ее глубокий, бархатный, почти мхатовский альт заставил Ленку Блудову вздрогнуть. – Боже мой, какая хрупкая, кружевная вязь человеческого страдания... «Дядя Ваня». Послушайте, дети, этот хрустальный плач угасающей усадебной интеллигенции. Это же симфония невысказанной боли, где каждый вздох – как трещина на изысканном мейсенском фарфоре. Помните этот финал? Соня, этот чистый, ангелоподобный ребенок, шепчет исстрадавшемуся дяде: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...» Какое великое, святое милосердие, какая искупающая вера в высшую справедливость, побеждающая земную пошлость!

Александра Сергеевна зажмурилась, подбородок ее мелко задрожал от благоговения, а на ресницах заблестела чистая, как роса, слеза истинного ценителя. Класс на секунду замер, очарованный этой картиной: маленькая святая женщина трепещет перед вечностью.

В этот момент Блудова демонстративно и громко зевнула, смачно щелкнув челюстью, и полезла в карман за айфоном.

Слеза на щеке Александры Сергеевны мгновенно высохла. Глаза сузились в две ледяные щели. Она плавно опустила руку, легким движением фокусника достала из-под стола длинную деревянную указку – которая в ее руках смотрелась как средневековый полуторный меч, и с оглушительным грохотом плашмя опустила ее на парту Блудовой и Спражняка. Оба подпрыгнули.

– Блудова, умойся святой водой и завали свое хайло, – ледяным, скрипучим тоном произнесла Пушкина. Весь пафос XIX века испарился, уступив место тяжелому армейскому цинизму. – Алмазы она в небе увидит. Хрен ты там че увидишь, кроме выхлопов химкомбината. И Соня твоя хваленая – обыкновенная терпила с синдромом спасателя, у которой из всех талантов – только умение пахать как неглаженный колхозный мерин.

Класс мгновенно подобрался. Спражняк даже выплюнул жвачку в ладонь и спрятал в карман.

– Вы вообще эту пьесу глазами читали или жопой? – Александра Сергеевна легко соскочила со словарей на стул, а со стула на пол. Ее крошечные туфельки 24-го размера глухо засту-

чали по линолеуму, пока она мерила шагами пространство у доски. Ментально она сейчас казалась трехметровым гигантом, нависающим над этой аудиторией дегенератов.

– Нам сто лет втирают про «трагедию мыслящих людей», – продолжила она, заложив крошечные руки за спину. – А Чехов – гениальный тролль и дипломированный врач – написал клиническую картину запущенного бытового паразитизма и группового слабоумия. Давайте препарируем этих ваших «страдальцев». Возьмем дядю Ваню. Войницкого. Мужу сорок семь лет. Четверть века он, в обнимку с племянницей Соней, корячится в этой глухомани, отправляя каждую копейку бывшему зятю – профессору Серебрякову. Зачем? Потому что Серебряков для них – кумир, пишущий заумную херню об искусстве. И вдруг Ваня прозревает: «О боже, профессор – ничтожество, пустой пузырь!» И у Вани срывает башню. Да ты сам, Ваня, дебил! Ты двадцать пять лет добровольно сливал свою единственную жизнь в унитаз, не имея ни ума, ни яиц, чтобы построить собственную судьбу. А теперь виноват профессор, который просто профессионально сидел на чужой шее? Серебряков – обычный, качественный манипулятор. Он абызлит эту семейку просто потому, что они позволяют себя доить.

Пушкина остановилась перед первой партой, в упор глядя на притихших хулиганов.

– А доктор Астров? О-о-о, мечта учительниц литературы среднего возраста! Красавец, леса сажает, о будущем человечества печется. А на деле – выгоревший, спивающийся циник, которому на людей уже глубоко насрать. К нему стрелочника привозят покалеченного, тот под хлороформом помирает, а Астров идет домой и жрет водяру. И единственное, что способно расшевелить это живое надгробие – это чужая молодая баба, Елена Андреевна. Жена профессора.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула, поправив воротничок блузки.

– Вот уж вершина чеховского цинизма. Елена Андреевна – это же эталонная, рафинированная пиявка. Абсолютно ленивое, бесполезное существо. Она же прямо говорит: «Мне скучно, я не знаю, что делать». Ей предлагают: поучи крестьянских детей, полечи больных. Ответ: «Я этого не умею, да и неинтересно». Ее единственная функция в усадьбе – ходить, шуршать юбками и заражать всех вокруг своей паразитической ленью. Она как вирус. Стоило ей приехать, как Ваня бросил дела, Астров забросил медицину и леса, все пьют, спят средь бела дня и исходят на говно от неудовлетворенной похоти.

Пушкина вскочила обратно на стул, оперлась на указку и обвела класс суровым взглядом.

– И вот финал. Профессор с женой сваливают в Харьков, высосав из этой усадьбы все соки и оставив после себя эмоционально выжженное поле. И что делают наши великие интеллигенты? Они садятся за счета! «Две баранки, пуд муки, постное масло...» Соня утыкается в гроссбух и заводит пластинку про небо в алмазах и отдых на том свете. Знаете, что это такое? Это не катарсис. Это финальная стадия рабства. Чехов показывает страшную вещь: эти люди не способны жить иначе. Им насущно необходим хозяин, который будет их погонять, чтобы у них было легальное право страдать и ничего не менять в своей жалкой жизни. Они добровольно выбирают скотское существование, прикрывая его высокими словесами о долге. Дядя Ваня – это гимн просранным возможностям и торжеству обыкновенной человеческой глупости.

В классе стояла гробовая, звенящая тишина. Ленка Блудова даже забыла про свой телефон, уставившись на маленькую учительницу широко открытыми глазами. В ее не обремененной мыслями голове впервые зашевелилось что-то похожее на инсайт.

– Ну что, Блудова? – Александра Сергеевна приподняла одну бровь, и на ее губах появилась едва заметная, бесконечно циничная ухмылка. – Будем дальше сопли на кулак наматывать про «несчастную любовь» или, может, попробуем включить мозг и написать сочинение о том, как опасно быть тупым ресурсом для интеллектуальных банкротов?

Блудова сглотнула и тихо произнесла:

– Давайте... про ресурс, Александра Сергеевна.

– Вот и чудно, – Пушкина легко перешагнула на свои тома Брокгауза и Ефрона и снова уселась, превратившись в чопорную, безупречную фарфоровую статуэтку. – Открываем тетради, записываем тему. И не дай бог я увижу в ваших опусах хоть одно сопливое слово про «высокую духовность» Войницкого. Пощады не будет.

«Евгений Онегин», А. Пушкин

Майское солнце вползало в кабинет русского языка и литературы сквозь немытые стекла, дробясь в пыльной дымке и золотя убогую масляную краску стен. Девятый «Г» пребывал в своем естественном состоянии анабиоза. На задней парте Елена Перепихина, местная принцесса дискотек, сосредоточенно ковыряла заусенец, а двухметровый лоботряс Егор Акашко сидел, уставившись в пустую тетрадь взглядом доисторического ящера.

Над учительским столом возвышалась Александра Сергеевна Пушкина. Точнее, возвышался ее авторитет, поскольку сама она едва достигала отметки в девяносто сантиметров. Чтобы класс видел ее безупречно прямую спину, на стул была водружена Большая советская энциклопедия. Народный учитель РФ, тезка великого поэта, сидела на томах «Естествознание – Искусство», словно на троне. Короткими, но изящными пальцами она бережно перевернула пожелтевшую страницу «Евгения Онегина».

– Послушайте, господа, – ее голос, глубокое, бархатное контральто, заставил Перепихину вздрогнуть. – Какая невыразимая, хрустальная грусть разлита в этих строках. Какое тонкое, едва уловимое колыхание русской души! Пушкин создал не просто роман. Он соткал полотно из утреннего тумана, девичьих слез и благородной меланхолии. Татьяна! Это же чистый, незамутненный идеал, кристалл народной нравственности, заброшенный в глушь уездного дворянства. А сам Онегин? Пророк разочарования, несущий на своих плечах тяжелое бремя европейского сплина. Какое великое, трагическое несовпадение двух космических одиночеств...

Александра Сергеевна замолчала, благоговейно прикрыв глаза. Сидевший на первой парте отличник Яша Наггетс преданно закивал, растроганный этой картиной высшего филологического пиетета.

В этот момент Ленка Перепихина, решив, что магия слова ее окончательно усыпила, громко со вкусом зевнула и смачно сплюнула в бумажку жевательную резинку.

Тонкие губы Александры Сергеевны мгновенно сжались в ниточку. Ее крошечные туфли индпошива двадцать четвертого размера глухо стукнули о ножку стула. Взгляд маленьких черных глаз, ставший острым, как скальпель патологоанатома, уперся в девушку.

– Перепихина, – тихо, но отчетливо произнесла лилипутка, и класс мгновенно вымер. – Выплюнь свой «орбит», закрой пасть и послушай сюда. Сейчас я переведу тебе этот «энциклопедический шедевр» на понятный твоему пубертатному мозгу язык. Потому что то, что вам втирают в учебниках про «энциклопедию русской жизни» – это чистой воды развод для лохов.

Отличник Наггетс сглотнул. Голос учительницы набрал мощь, ментально разрастаясь до размеров Останкинской башни и буквально вдавливая двухметровых подростков в парты.

– Давайте снимем эти розовые сопли и препарируем факты, – Александра Сергеевна барабанила маленькими пальцами по столу. – Кто такой Евгений Онегин? Великий страдалец? Не смешите мои тапочки. Это обыкновенный, зажавшийся мажор на папины, а затем на дядины бабки. Чувак приехал в деревню, потому что в Питере у него кончился кредит доверия, а печень начала отказывать от постоянного бухича и опиума, который тогда пили ведрами от депрессии. Ему скучно. И тут на горизонте появляется Ленский. Шестнадцатилетний романтик с кудрями до плеч, начитавшийся немецкой шизофрении. И этот малолетний дурачок тащит Онегина в гости к Лариным.

Учительница поправила очки и ядовито усмехнулась:

– А теперь посмотрим на Татьяну, наш «чистый идеал». Девка растет в глухомани, где единственный источник информации – паршивые французские любовные романы. У нее жесточайший гормональный сбой и дефицит внимания. И тут в их колхоз приезжает столичный хлыщ. Пахнет дорогим парфюмом, харизма прет, рожа кислая – все, бинго! Таня врубает режим «я его слепила из того, что было» и строчит ему письмо. Вы вдумывались в текст этого

письма? «Я к вам пишу – чего же боле?» Да это же чистой воды манипулятивный шантаж и перекладывание ответственности! «Теперь, я знаю, в вашей воле меня презрением наказать...» – девица заранее выставляет себя жертвой, чтобы чувак чувствовал себя виноватым еще до того, как открыл рот.

Перепихина перестала ковырять заусенец и вытаращила глаза.

– И что делает Онегин? – продолжила Александра Сергеевна, чей авторитет сейчас казался колоссальным, несмотря на то что из-за стола виднелась только ее голова и плечи. – Он ведет себя как нормальный, вменяемый двадцатипятилетний мужик. Он понимает, что если переспит с этой малолетней фанаткой Ричардсона, семейка Лариных заставит его жениться под дулом дробовика. Он приходит в сад и вежливо говорит: «Девочка, остынь, я не твой формат, иди учи уроки». Это был единственный благородный поступок в его никчемной жизни! Но уязвленное эго Танечки этого не простило. Женский эгоизм, Перепихина, страшнее атомной войны.

Класс сидел, не шевелясь.

– Дальше – больше, – чеканила слова лилипутка. – Именины Татьяны. Онегину скучно, его бесит провинциальный зверинец с наливкиными и буяновыми. И из чистой, скотской вредности он начинает лапать на танцах Ольгу. Ольга – типичная блогерша девятнадцатого века. Мозгов как у ракушки, зато глазки строит. Ленский вскипает. Дуэль. И вот тут – апофеоз человеческой гнили. Онегин понимает, что дуэль – это бред. Он не хочет убивать пацана. Но что пишет мой великий однофамилец? «Но дико светская вражда боится ложного стыда». Перевожу: Онегину было запахло перед местными колхозниками показаться трусом. Из-за страха, что условный Зарецкий – старый дуэльный сплетник – назовет его «непацаном», Женечка берет ствол и стреляет мальчишке прямо в грудь. Это не сплин, ребята. Это трусость и банальное убийство по предварительному сговору.

Александра Сергеевна сделала паузу, наслаждаясь гробовой тишиной.

– А финал? Проходит пара лет. Татьяна выходит замуж за заслуженного генерала с кучей бабок и связей при дворе. Приезжает Онегин, видит ее в малиновом берете и понимает: ух ты, а девка-то поднялась! Теперь она трендсеттер, элита. И в нем просыпается банальное, животное желание обладать тем, что стало престижным. Он падает на колени, сопли, слюни. И каков ответ нашей праведницы? «Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана; я буду век ему верна».

Александра Сергеевна сползла со своего трона на пол. Ее крошечная фигура в строгом костюме прошла перед доской. Она казалась огромной.

– Вы думаете, она верна генералу из-за долга и чести? Ха! Она верна своему новому статусу. Ей нравится ломать Онегина через колено так же, как он когда-то обломал ее в саду. Это чистая, изысканная месть бабы, которая дорвалась до власти. «Но я другому отдана» – это не верность мужу, это верность своему триумфу. Она размазала его по паркету, отыгралась за старую обиду и пошла пить чай с испанским послом. Вот вам и вся любовь, господа дегенераты. Обычное столкновение двух эгоистов, один из которых оказался чуть более расчетливым.

Звонок на перемену пронзительно затрещал. Никто не двинулся с места.

Александра Сергеевна легко, со сновкой, прыгнула обратно на стул, подтянула к себе журнал и закрыла его с сухим стуком.

– Домашнее задание: написать сочинение на тему «Пороки Онегина как зеркало современной поп-культуры». И не дай бог я увижу там хоть одну фразу из Википедии про «лишнего человека». Свободны.

Девятый «Г» молча, словно замороженный, начал собирать сумки. Лена Перепихина шла к выходу с таким видом, будто ей только что открыли тайны мироздания.

«Ежик в тумане», Козлов С.

Солнце плавилось над городом N, заливая мазутные причалы старого речного вокзала густым, купеческим золотом. В этот предвечерний час, когда крики чаек становятся протяжнее, а речной воздух густеет от запаха подгнивших водорослей, здесь царил дух чеховского увядания.

По дощатому настилу, тяжело ступая в форменных сапогах, шел дежурный линейного отдела полиции, капитан Сергей Бездач. Рядом с ним, едва доставая макушкой до его кобуры, семенила Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров абсолютного, концентрированного величия.

В тонких, сухих пальцах она держала тяжелую трость с лакированным набалдашником, хотя сама ее ручка была весом с воробьиное крыло.

Капитан Бездач вел ее на арестованный браконьерский катер – Александра Сергеевна, как председатель общества охраны памятников, должна была засвидетельствовать, что изъятая у воров старинная икона не пострадала от сырости.

– Вы посмотрите на этот закат, Сереженька, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный, почти контральто, вибрировал в такт шагам. – Какая акварельная нежность. Небо дышит, словно полотно Левитана. В такие минуты понимаешь, что истинное искусство рождается только из тишины и созерцания. Вот взять, к примеру, великую элегию Сергея Козлова о Ежике. Боже мой, какая хрустальная, щемящая душу метафора бытия! Тридцать комариков на писклявых скрипочках – это же чистый Моцарт, застывший в предрассветном тумане. А эта белая лошадь? Символ недостижимого абсолюта, чистая платоновская идея, плывущая сквозь морок земного существования. Ежик, спускающийся в туман, – это же Орфей, шагающий в Аид ради познания тайн вселенной. Сердце замирает от этой незащитности перед лицом вечности...

Они ступили на борт катера. Бездач, кряхтя, открыл ржавую железную дверь трюма. Оттуда разило протухшей плотвой, пивом «Охота» и мокрой псиной. У переборки валялся рваный матрас, заплеванный шелухой от семечек.

Александра Сергеевна брезгливо приподняла подол юбки, безупречно переступила через лужу машинного масла и вдруг замерла. Ее ноздри хищно раздулись. Вся ее двадцатипятикилограммовая фигура натянулась, как струна. Она повернула к капитану свое сухое, породистое лицо с огромными навывкате филологическими глазами. Весь Левитан испарился в одну секунду.

– Господи, Бездач, какой же скотский, беспросветный примитивизм, – отрезала она, и ее бархатный голос превратился в скальпель. – Ровно такой же, как в этой дегенеративной сказке для умственно отсталых. Ведь эту муйню запихнули во внеклассное чтение для младшей школы. Ты вообще вчитывался в этот бред, Сережа? Какой к черту Орфей? Этот ваш Ежик – классический пример латентного суицидника и клинического аутиста с тяжелой формой сенсорной депривации.

Александра Сергеевна театрально развела крошечными руками, словно призывая заплеванную палубу катера в свидетели этого планетарного безумия.

– Ты посмотри на его паттерны поведения. Существо в трезвом уме и здравой памяти видит перед собой стену нулевой видимости. Что делает нормальный зверь? Сидит на жопе ровно под своей сосной и ждет рассвета. Но нашему дурачку скучно. Ему нужно «посмотреть, как там внутри». Это же чистый инстинкт саморазрушения, завернутый в красивую обертку экзистенциального поиска!

Она с силой стукнула тростью по ржавому полу трюма. Звук вышел сухим и грозным.

– А Медвежонок? Этот его так называемый «друг»? – Александра Сергеевна ядовито усмехнулась. – Да это же созависимые, абьюзивные отношения в терминальной стадии. Медведь сидит на крыльце, варит малиновое варенье и мысленно уже делит имущество Ежика, пока тот шляется по болотам. А Лошадь? Все восторгаются Лошадью. «Ах, она утонула по грудь!» Сережа, включи логику. Лошадь тупо стоит посреди реки в тумане, потому что у нее копыта застряли в иле, и она пребывает в состоянии глубокого ступора от собственной глупости. А этот мелкий шизофреник ползет мимо, лапы перед собой не видит, и вместо того, чтобы спастись, думает: «Захлебнется ли она, если ляжет спать?» Да она уже морально захлебнулась в своем кобыльем ничтожестве!

Пушкина прошла по трюму, ее крошечные туфли чеканили шаг, заставляя Безсдачу невольно вытянуться во фрунт. Ментально она сейчас возвышалась над ним, как Эйфелева башня.

– Но самый цинизм автора, Сереженька, раскрывается в финале, в сцене с Рекой. Этот слабоумный колючий комок падает в воду. И что он решает? «Пускай река сама несет меня!» Потрясающе! Манифест абсолютной, эталонной инфантильности. Полный отказ от воли к жизни. И тут появляется КТО-ТО. Беззвучный, скользкий гад. Метафора теневого сектора экономики или коррумпированного чиновника. Он подвозит Ежика на спине, не требуя ничего взамен. И этот дурачок даже не спросил, кто это был! Ему плевать, кто его спас – рыба, рак или проплывающий труп утопленника. Главное – жопа в тепле и на берегу. Ежик отряхивается, бредет к Медведю, слушает его лицемерный треп про то, как они будут считать звезды, и молчит. Знаешь, почему он молчит?

Она сделала резкий выпад вперед, едва не ткнув набалдашником трости в начищенную бляху капитанского ремня. Безсдач инстинктивно втянул живот.

– Потому что у него посттравматический синдром и полное выгорание личности. Козлов написал не милую сказку, Безсдач. Он написал эпитафию человеческому пофигизму и соглашательству со смертью. И вот это мы задаем детям на внеклассное чтение! Чтобы они с восьми лет учились плыть по течению, как дерьмо по трубам, и ждать беззвучную скользкую спину!

Александра Сергеевна остановилась возле завернутой в мешковину иконы, аккуратно отогнула край ткани, мельком взглянула на лик Богородицы и удовлетворенно хмыкнула.

– Слава Богу, Казанская. Настоящая, девятнадцатый век, сырость не взяла. Оформляй изъятие, Сережа.

Она повернулась и направилась к выходу, бросив через плечо:

– Если мы хотим спасти нашу страну, Безсдач, мы должны прекратить идеализировать туман. Из тумана выходят либо калеки, либо браконьеры. Третьего не дано.

Капитан Безсдач остался стоять в темном трюме, ошарашенно глядя на колышущуюся мешковину и боясь пошевелиться.

Ерофеев Венедикт Васильевич

Вечер опускался на древний сонный город N, укутывая хрущевки саваном сизого среднерусского тумана. В крошечной кухне, где на стене сиротливо желтел диплом Народного учителя РФ, царила сакральная тишина.

Александра Сергеевна Пушкина – женщина, чей исполинский филологический дух был заточен в хрупкое, всего девяносто сантиметров от пола, тело весом с мешок попкорна – предавалась священнодействию. Ее крошечные, детского размера пальцы с безупречным маникюром нежно баюкали граненый стакан. В нем плескалась «слеза комсомолки» – легендарный коктейль, смешанный в строгой пропорции по рецепту великого экзистенциального пророка советской эпохи.

– Какая невыразимая, хтоническая тоска разлита в этих строках, – прошептала Александра Сергеевна, наводя лорнет на пожелтевший томик. Голос ее, глубокий и бархатный, контрастировал с физическим масштабом. – Какое великое, библейское странствие духа совершается между Курским вокзалом и Петушками! Это же чистый, незамутненный Фауст развитого социализма, ищущий Царствие Божие на дне чекушки. Веничка – херувим с похмельным синдромом, несущий крест своего сверхинтеллекта через плебейское болото бытия...

Она зажмурилась, благоговейно пригубила липкую, пахнущую лаком для ногтей и лавандовым одеколоном смесь, и сделала большой глоток.

В ту же секунду пространство с треском лопнуло. Александра Сергеевна больно стукнулась затылком о что-то деревянное. Опять! Ну конечно, опять этот проклятый филологический алкоголизм и пространственно-временные петли.

Она сидела на жесткой лавке в прокуренном, пропахшем мокрой шерстью и дешевым табаком тамбуре электрички. За окном мелькали серые подмосковные березы. Напротив нее, привалившись спиной к облупленной двери, сидел длинный, небритый мужчина в помятом плаще, с грустными глазами кастрированного вола. В руках он держал четвертинку «Кубанской».

Александра Сергеевна брезгливо поправила кружевной воротничок, величественно выпрямила свои двадцать пять килограммов живого веса и посмотрела на гения снизу вверх, хотя ментально глядела из стратосферы.

– Ну и чего ты разнылся, Веничка? – резко, без перехода, проскрипела она, начисто смывая из голоса высокопарный пафос. – Нашелся, бляха-муха, Иоанн Креститель из пригородного поезда.

Венедикт вздрогнул, уставившись на говорящую куклу в строгом учительском костюме.

– Вы... ангел? – просипел он. – Из малых сих?

– Из больших хреных, Ерофеев! – отрезала Пушкина, ловко вскакивая на лавку, чтобы оказаться с ним хотя бы на одном уровне. – Я твою поэму одиннадцатому классу тридцать лет на факультативах в глотку заталкиваю. И каждый раз меня тянет блевать – не от твоего «Сучка», а от твоей тотальной, инфантильной беспомощности, завернутой в цитаты из Салтыкова-Щедрина.

– Вы не понимаете... Это трагедия лишнего человека... – пробормотал поэт, пытаясь спрятать бутылку.

– Лишнего? Да ты просто ленивая скотина, Веничка! – Александра Сергеевна ткнула маленьким пальчиком в его грязный воротник. – Давай снимем с твоих Петушков этот херувимский глянец. Что мы видим, если убрать из текста Библию и Канта? Мы видим классического, эталонного тунеядца, у которого эго размером с Казанский вокзал, а воли – как у инфузории-туфельки. Ты же гениальный манипулятор! Ты возвел банальный алкогольный психоз

в ранг религиозного культа, чтобы не работать, не взрослеть и вечно прятаться за чужими юбками – то у московских дурочек, то у твоей блудницы в Петушках!

– Я ишу покой... Я бегу от жестокого государства... – завел Веничка привычную шарманку.

– Ты бежишь от трезвости, потому что в трезвом виде ты – никто, – безжалостно препариовала его Пушкина, сверкая глазами. – Твой протест против советской власти – это протест трехлетнего ребенка, который наложил в штаны назло маме. «Они заставляли меня вести графики соцсоревнования!» О боже, какая экзистенциальная драма! Проверить кабель на кабельных работах – это выше твоего достоинства? Проще ведь нажраться гуталина, транслировать это как «сверхчувственный опыт» и паразитировать на жалости интеллигентных дурочек.

Веничка попытался отвернуться, но маленькая женщина обладала гипнотическим авторитетом педагога с колоссальным стажем.

– Твой герой не доехал до Петушков не потому, что его настиг Рок или Сфинкс, – чекавила она слова, словно забивала гвозди в его гроб. – Он не доехал, потому что он тупо перепил и проспал свою остановку. Обычная пьяная бытовуха. Но ты, сукин ты сын, обладая колоссальным, божественным даром слова, размазал эти сопли по Евангелию так, что три поколения филологов теперь рыдают над твоей «нежной душой». Ты сделал алкоголизм национальной сверхидеей, оправданием для любого безделья. Зачем строить, зачем созидать, если можно просто страдать в тамбуре и красиво цитировать Гете перед тем, как уснуть в собственной блевотине? Твой гуманизм – это жалость эгоиста к самому себе.

Ерофеев посмотрел на нее с ужасом и глухим обожанием, присущим всем алкоголикам перед лицом строгой материнской фигуры.

– Но ведь текст... текст же прекрасен... – прошептал он.

– Текст гениален, – внезапно согласилась Александра Сергеевна, и в ее глазах снова на секунду вспыхнул трепет перед искусством. – Ты упаковал абсолютную пустоту и социальное дно в безупречную форму. Ты показал, как распадается человеческий разум, заменяя реальность мифами. Но как человек, Веничка... ты полное дерьмо. Передай мне бутылку.

Она сделала глоток прямо из горлышка. Вагон качнулся. Серый подмосковный пейзаж за окном закружился центрифугой.

...Александра Сергеевна очнулась на своей кухне. По радио передавали прогноз погоды для Энской области. Голова раскалывалась, во рту было ощущение, будто там перезимовал отряд красноармейцев.

Она аккуратно поставила пустой стакан, поправила юбку и посмотрела в зеркало. Девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической злости.

– Завтра одиннадцатый «Г» у меня попляшет, – проворчала она, нащупывая цитрамон. – Устрою я им внепрограммный факультатив по постмодернизму. Научу я этих сук Родину любить и отличать библейские аллюзии от банального похмельного бреда.

Есенин Сергей Александрович

Александра Сергеевна Пушкина наливала водку в тридцатиграммовую рюмочку бережно, словно отмеряла жидкое серебро. В ее крошечной квартире на окраине N царил полумрак, пахло старыми книгами и валидолом. Народный учитель Российской Федерации, чей макушечный рубеж замер на отметке девяноста сантиметров от пола, взобралась на табурет с грацией престарелой цирковой гимнастки. Двадцать пять килограммов филологической ярости были облачены в безупречно отутюженное платье с жабо.

Перед ней лежали кабачковая икра, черствый бородинский хлеб и томик с золотым тиснением. Александра Сергеевна зажмурилась, поднесла стакан к губам и выпила. В горле обожгло. В голове, как всегда после третьей рюмочки под Есенина, сладко и страшно зашумело. Пространство N истончилось, поплыло, и учительница провалилась в хмельную кротовую нору, напрочь забыв, что спиртное действует на ее гениальный мозг как машина времени.

...Небо над предреволюционным Петроградом раскинулось исполинским, сиреневым парчовым шатром, расшитым золотыми нитями угасающих звезд. Воздух, густой и прохладный, дышал ароматом цветущей черемухи и тонким, едва уловимым дымком далеких крестьянских костров.

Это были времена благословенной Руси – той самой, уходящей, деревянной, со звенящими девичьими голосами у колодцев и малиновым звоном колоколов, плывущим над бескрайними заливными лугами Рязанщины.

В роскошной гостиной столичного мецената, среди бархатных портьер и мерцающего хрусталя, сидел он – херувим с васильковыми глазами и золотыми кудрями, чистый, как ангельский помысел, поэт земли русской, Сереженька Есенин. Он держал в руках бокал шампанского, и сердце Александры Сергеевны, замершей на краю огромного кожаного дивана, затрепетало от священного восторга перед этим чистым родником национальной поэзии. Какие метафоры! Какая пасторальная нега, какая святая, незамутненная грусть о разлуке с отчим домом, где «старый клен на одной ноге стережет голубую Русь»...

Есенин икнул, вытер рот рукавом шелковой косоворотки и размашисто сплюнул на дорожкой персидский ковер.

Магия растаяла. Александра Сергеевна поправила жабо, и ее крошечное лицо исказилось гримасой такого леденящего цинизма, от которого кабацкие вышибалы попадали бы в обморок. Она легко спрыгнула с дивана, оказавшись златокудрому гению по бедро, и смерила его взглядом инквизитора.

– Слышь, херувим на зарплате, – отчетливо и скрипуче произнесла она, мгновенно перейдя на каленый синтаксис подворотен. – Ты кому тут лапти на уши вешаешь про соломенную Русь и тоску по пашне? Думаешь, если передо мной сидит икона школьной программы, так я не вижу под этим сусальным золотом банального, прожженного продюсерского проекта?

Есенин вылупил свои васильковые глаза, едва не выронив бокал.

– Да ты че, тетка... ты откуда вылезла, метр с кепкой? – пробормотал он.

– Рот закрой, Сережа, сквозит, – отрезала Александра Сергеевна, чей ментальный масштаб сейчас заполнял комнату, превращая девяностосантиметровое тело в монолитную скалу. – Давай снимем эти твои лапти и посмотрим на голые факты. Ты же деревню ненавидел так, что тебя от одного запаха навоза наизнанку выворачивало. Ты в семнадцать лет сбежал из своего Константинова в Москву, потому что спину гнуть на поле – это не стишки в блокнотик строчить под липами. Но торговать лицом в вышиванке – это же гениальный стартап для столичных салонов!

Она прошлась по комнате, чеканя шаг маленькими туфельками двадцать четвертого размера.

– Приехал в Питер, прикинулся таким невинным пастушком, «от сохи», – Александра Сергеевна ядовито ухмыльнулась. – Кудряшки подвил, косоворотку чистую нацепил, Ключеву в рот заглядывал, пока тот тебя продвигал. А сам в это время просчитывал каждый шаг, как прожженный маркетолог. Ты же со своими «имажинистами» умудрился приватизировать все книжные лавки в Москве после революции! Вы же стены Страстного монастыря по ночам похабными стихами расписывали чисто ради хайпа и черного пиара. Какой к черту «последний поэт деревни»? Ты первый профессиональный блогер-скандалист советской эры!

– Я... я за народ душу полагал! – пафосно выкрикнул поэт, пытаясь встать, но Александра Сергеевна грозно подняла крошечный указательный палец, и Есенин послушно сел обратно.

– Не смейся мои седины, Сереженька. Твой «народ» – это ты сам, любимый, в зеркале. Твоя трагедия не в том, что «железный гость» растоптал твою деревянную Русь. Твоя трагедия в том, что ты продал душу дьяволу популярности, а на сдачу купил цирроз печени. Ты же клинический нарцисс с тяжелым синдромом кабацкого распада. Вся твоя любовная лирика – это же гид по токсичным отношениям и абыюзу. «Пей со мною, паршивая сука» – это, по-твоему, трепетный романтизм? Да любой современный психиатр запер бы тебя в стационар после первой же строчки «Черного человека». Ты же там прямым текстом описываешь свою белочку и галлюцинации!

Она подошла вплотную к его сапогу и постучала по нему кулачком.

– Ты Айседору Дункан зачем окрутил, поэтическое ты наше чудовище? Думаешь, учебники не напишут, как ты, не зная ни слова по-английски, катался за ее счет по Америкам и Европам, жрал в три горла, бил зеркала в отелях, а потом жаловался, что на гниющем Западе твою гениальную русскую душу никто не понимает? Да им просто переводить твой кабацкий скулеж было лень! Ты сбежал обратно, потому что там ты был просто «мужем великой балерины», экзотической зверушкой на поводке, а тебе нужно было, чтобы амфитеатры рыдали, когда ты читаешь про клен и суку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.